



**Юзеф Игнаций  
Крашевский**



*Безымянная*

Юзеф Игнаций Крашевский

**Безымянная**

«Э.РА»

1869

УДК 821  
ББК 84 (2Пол=Рус) 6-4

**Крашевский Ю.**

Безымянная / Ю. Крашевский — «Э.РА», 1869

ISBN 978-5-00039-219-5

Исторический роман замечательного польского классика Ю. Крашевского «Безымянная» рассказывает о нелёгкой судьбе сироты Хелены. История её жизни и любви показаны на фоне восстания 1794 года. В последних главах романа автор переносит сцену действия в Россию, ко двору Екатерины II, где заключены в тюрьмы многие участники польского восстания.

УДК 821  
ББК 84 (2Пол=Рус) 6-4

ISBN 978-5-00039-219-5

© Крашевский Ю., 1869  
© Э.РА, 1869

# Содержание

Том первый	6
Конец ознакомительного фрагмента.	53

# Юзеф Крашевский Безымянная

Józef Ignacy Kraszewski  
Bezimienna

© Бобров А. С., 2016

\* \* \*

*Переводы посвящены Ольге Артамоновой*

## Том первый

### I

Нет более грустной поры года для жизни, чем хмурая осень, которая, кажется, ведёт к могиле природу и человека... Самая отвратительная весна – это ещё надежда, за ней светит солнце жизни; самая суровая зима – это уже рассвет весны – но эти серые дни, слякотные, ветреные, эти скелеты высохших деревьев, жизнь, остановленная повсюду, стёртые краски, медленно остывающее тепло – всё короче солнце, в самые молодые сердца вливаются грусть и сомнение. Иногда хочется умереть, а душа бунтует против этой медленной пытки. Кажется, что от этого сна и онемения свет уже не пробудится... А в густоте пущ, в голых степях, где носится и воет ветер – в диких закутках нашей страны – для бедных людей, для бедных хат, для болезненных тел, для тоскующих душ... какие же это страшные часы для выживания!!

Человек хотел бы так лечь, уснуть, как, согласно преданиям, деревенеют и ложатся спать сурки и медведи и не разбудить их даже жаворонками и зеленью.

В такой тоскливый вечер бурной осени в маленькой усадёбке, неподалёку от опустевшего панского дворца, расположенного над дорогой, которая к нему вела, в очень бедной комнатке, кем-то старательно и аккуратно поддерживаемой, две молчащие, грустные женщины сидели у камина, в котором немного сухих веток, горя неровным пламенем, то бросали свет яркими поясами на комнату, то погружали её в темноту...

По-вдовьему, по-сиротски, бедно выглядел этот уголок, настоящее убежище людей на милосердном хлебе... Мы знаем, что милосердие выглядит всегда слишком скромно...

Рядом с комнатой в алькове, в который через открытые двери вкрадывалось немного света, лежала бледная... двенадцатилетняя, может, девочка, лицом обращённая к первой комнате и огню. Её глаза, большие, чёрные, сверкающие жизнью, разбуженной лихорадочно, красивому детскому личику придавали выражение дивное, поразительное, глаза её говорили больше, нежели объяснял возраст – преждевременная зрелость, зловещая, которая пугает мать и заставляет сомневаться в будущем, была заметна на лице ребёнка.

Две женщины, сидящие в первой комнате с какой-то работой в руках, больше прислушивались к завыванию ветра, шелесту веток и опадающих листьев, шуму бури... больше поглядывали в темноту... чем думали о работе, что выпадала у них из рук... Они были грустные, погружённые... словно выжидали чего-то и боялись одновременно.

Старшая из них могла иметь лет сорок, но с лица смотрело более чем сорокалетнее страдание. Была это женщина бледная, исхудавшая, очень измученная, с выражением страдания и доброты на лице, с отпечатком боли, в которой уже не было искры надежды. Волосы её поседели раньше времени, глаза были впалые, ранними морщинками покрыты лоб и щёки; веки покрасневшие и набухшие. Бедность, неудобства, забота придавили её, но не раздражили против мира и людей, казалось, что она благочестиво сносит, что ей послал Бог, не бунтуя против Него. Лицо младшей женщины, одетой, как и первая, в скромное платье, было вполне поэтичным – редко такая красота встречается под убогой крышей... Прекрасные цветы привыкли расти в теплицах, а светлые лица – среди обилия и достатка. Иногда попадаются, словно в насмешку над бедностью и житейскими трудностями, привлекательные лица и в суманых, полные выразительности и грустной прелести, иногда классической красоты; редко, однако, что-нибудь так прекрасно величественно, победно сверкающе, как фигура этой молодой девушки... В бедном своём старом платье она казалась переодетой королевой. Её лицо было не только красивым, не только благородным, но поражало выражением энергии, силы,

чувством собственного могущества... и какой-то победной гордости, которая бедности сломать себя не дала.

Вся её фигура, прекрасно сложенная, восхищала совершенством форм; талия, плечи, лицо светлые, ручки маленькие, чёрная коса, которая наклоняла её головку своею тяжестью, грустная улыбка её розовых губ в таком были контрасте с этой убогой комнаткой, что на первый взгляд можно было подумать, что сюда прибыла только временно.

Сидела она всё-таки в своём имении, удручённая, задумчивая, бросив работу... смотрела на огонь, а иногда качала милой головой, пожимала плечами... как если бы потихоньку в душе ссорилась с собственной мыслью.

Старшая женщина то таинственно на неё смотрела, то быстро опускала глаза, делая вид, что не смотрит, не видит, не догадывается об этой борьбе...

## II

Как эта фигура королевы в бедной комнатке, так же это схоронение от чужого ока представлялось очень загадочным противоречием. Была это последняя сцена какого-то падения.

Более убогую хату трудно найти даже на деревне, где с бедой и запущенностью легко... Некогда, может быть, уединённая и чистая, теперь, видно, с давнего времени была запущена, а новые жители взяли её в упадке после разрухи, не имея чем спасти её от дальнейшего уничтожения. Стены были покосившиеся, балки погнутые, кое-где чёрные и зеленеющие полосы обозначили места, где протекал дождь. Тающий снег втиснулся... с потолка поотваливалась глина, в нём светились чёрные трещины, разбитые окна были позатыканы деревом, травой, тряпками... Одно из них только было заслонено прибитой ставней.

От прогнившего пола остались только остатки, наполненные влажной утрамбованной глиной; сквозь двери, через которые продувал ветер, проникал холод, веяла буря, кружа дымом в камине, иногда выбегающим в комнату... Всё это было чересчур жалким, потому что свидетельствовало об отчаянии, которое помочь себе и выдержать не может.

Среди этой нужды, однако же, некоторые предметы домашнего обихода, разбросанные вещи, остатки лучших времён... казалось, предполагали иное существование...

Стол, канапе, пара стульев, коврик, прибитые к стене образки, медальоны и фигурки принадлежали как бы к другой безвозвратно ушедшей эпохе жизни.

На столе почти погашенная по причине экономии свеча была поставлена в подсвечник, некогда, может быть, позолоченный, сегодня латунный, потёртый, но очень изящной формы.

Насколько при таком недостатке может быть порядка и чистоты, сохраняли их, но вместе с тем было видно, что обломки валялись тут из необходимости, показывая, быть может, лучшие, либо, по крайней мере, иные судьбы.

## III

Из-за двери в альков чёрные глаза бледной девочки смотрели, как на радугу, в это прекрасное лицо грустной женщины, словно онемевшей от сомнения, смотрели, будто бы желая что-то прочесть... долго, до тех пор, пока из глаз не покатились слеза на постель... которой никто не видел...

И эта тихая слеза доказывала преждевременную детскую зрелость, которая уже умела скрывать боль, чтобы её не добавлять любимым.

— Матушка моя, — сказала, прерывая долгое молчание и словно пробудясь от сна, молодая женщина, — сегодня... уж он, пожалуй, не придёт...

— Кто? — спросила, притворяясь немного удивлённой, старшая.

— Он...

Названная матерью старшая женщина подняла голову с выражением сожаления.

– Дитя моё, – сказала она, – дитя моё любимое, почему ты об этом думаешь? Почему беспокоишься? Придёт, нет, что же это тебя так интересует... Раньше, позже, не придёт вовсе...

– Мы сидим так всегда одни, такие печальные... что же удивительного, что мне там немного тоскливо... по людям.

– К одиночеству, к печали нам нужно привыкнуть, моя Хела, – ответила старшая. – О! Привлечь к себе людей никогда тебе с твоим личиком не будет трудно, но на что нам люди... чтобы остальное отобрали... немного покоя и тишины?! Я вспоминала о нём... я уже этим напугана... человек чужой, неизвестный... ты к нему привыкаешь, а это перелётная птица... мы не знаем, ни кто он, ни зачем сюда явился, ни почему гостит и что делает... Оттого, что ему негде развлечься, он и привязался к нам... моя Хела... на этом ничего построить нельзя. Сегодня есть – завтра его нет.

– Строить! – повторила Хела с как бы насмешливой улыбкой. – А! Построю ли я что-нибудь на этом? Я хорошо знаю, что как прилетел, так и исчезнет, что его ничто здесь не задержит и больше, может быть, мы не увидим его в жизни... Но, моя матушка, хорошо хоть один вечер о печалях забыть, помечтать, поболтать, меньше останется несчастной жизни.

– Ты не совсем правду мне говоришь, дорогая Хела, о, не верю! – прервала старшая. – Я твою мысль читаю ясно, так как привыкла с детства... Почему ты так никогда не ожидала нашего старого добродушного приходского священника... или кого из мещан, что нас посещают? А его...

– Мама, – живо подхватила девушка, – как же его можно сравнивать с теми? Это люди почтенные, а тот...

– Но что же ты в нём такого необыкновенного находишь? – спросила старшая.

– Как – что? Вы спрашиваете? Вы этого не видите? – воскликнула Хела, сильно взволнованная, вскакивая со стульчика и сразу садясь, словно хотела скрыть беспокойство, – вы, вы не чувствуете, что таких людей немного может быть на земле? От него веет какой-то силой, красотой, мощью... Вы всё-таки видите что не молодостью он привлёк меня, потому что он уже не молод, ни красотой, потому что никогда красивым не был, ни элегантностью, так как по внешности кажется простым человеком... а несмотря на это, тот в серой венгерке невзрачный человек... клянусь тебе, матушка, это может быть кто-то... ну, я не знаю, это какой-то великий муж... это герой...

Старшая женщина грустно рассмеялась, пожимая плечами, качая головой с выражением сожаления.

– О, мечтательница ты, мечтательница! – шепнула она. – Ты, такая стосковавшаяся, голодная, молодость тебя так и зовёт из этой пустыни к свету и людям, что тебе каждый прибывший кажется переодетым принцем и героем...

Хела вздохнула.

– Никогда вы, мама, меня не поймёте.

– А ты меня, дорогая Хела...

Спустя минуту она добавила тише:

– Моя ты дорогая, только не дай голове на счёт героя очень уж широко размахнуться, он от тебя так неожиданно исчезнет, как странно выпал с дождём. Повторяю это тебе, припомни это себе, мы не знаем даже, кто он, зачем сюда прибыл... видимо, попал сюда случайно, только что-то ждёт, от скуки дал твоим милым глазам привлечь себя.

Хела молчала, но, желая повернуть разговор иначе, она отозвалась на вид равнодушно:

– А как же кажется вам, матушка? Кто бы это мог быть? Это загадка, не правда ли?

– Которой я не думаю отгадывать, – добавила старая. – В таких бурных временах, как наши, когда столько людей всякого рода снуёт по стране, можно ли даже догадаться, что это за человек? Что не простой какой-то шляхтич, ищущий должность, это несомненно... это будит



подозрения и домыслы, почему скрывается, почему утаивает фамилию, потому что он нам это поведал... какой-то... кажется, что её себе придумал заранее... и, по-видимому, не хочет, чтобы его знали, сидит целый день в доме приходского священника...

– А вы знаете, мама, то, – очень тихо шепнула Хела, наклоняясь почти к уху, – что на какие-то совещания приезжают к нему ночами обыватели из околицы, какие-то мещане, военные, князья... в доме приходского священника иногда не спят до белого дня...

– Откуда ты это знаешь? – спросила старшая.

Хела зарумянилась.

– Ну, достаточно, что знаю, – сказала она.

– Не нужно тебе об этом знать, – воскликнула взволнованная мать, – и, ради Бога, ни говорить, ни повторять, ни спрашивать! – говоря это, она заламала руки. – Тихо! Тихо! Перед самой собой... я также знала о том, а молчу даже перед тобой... Страшные времена!

Обе на мгновение замолчали.

– Будьте спокойны, – сказала Хела, – я говорю это потому, что если бы он был обычным человеком... всё-таки не тянулось бы к нему столько...

Старшая ничего не отвечала, огонь загорелся ярче, обе взялись за работу, но та у них уже не шла.

– Ну, вероятно, уже не придёт, – шепнула Хела почти неслышным голосом.

Затем из алькова больная девочка, лежащая в кровати, сказала, отвечая:

– Но придёт... я его слышу... идёт... идёт...

#### IV

– Ты ещё не спишь? – воскликнула мать, вскакивая и направляясь в альков.

Хела также встала, спеша за ней. Они нашли девочку, опиравшуюся на локти, с открытыми чёрными глазами, улыбающуюся им.

– Почему ты не спала? – спросила мать.

– Как же ты знаешь, что он придёт? – промолвила Хела, целуя её.

– Не спала, потому что не могла... ветер шумит, словно что-то говорит, чего не могу понять... всё-таки это может быть какой-то глас Божий... мысль, как мышка, летала у меня в голове и не дала вздремнуть... А что придёт, – промолвила она Хели, – о, это несомненно... отсюда слышны шаги по дороге... он идёт... он пришёл... чувствую...

В эти же минуты дверь затряслась, заскрипела, послышались шаги, несмотря на шум бури, и фигура, укрытая плащом, показалась на пороге. Мать аж заломила руки.

– О, мой Боже... эта Юлка, наверно, от болезни так всё знает и слышит...

Но ребёнок схватил её руку и, целуя её, потихоньку сказал:

– Нет, я здорова... теперь засну... но потому, что мне жаль было Хелу.

Мужчина, который вошёл и сбросил с себя промокший плащ на скамью, стоящую у порога, довольно несмело вошел на середину комнаты.

Хела побежала зажечь свечу, стоящую на столе. Старшая приветствовала его, молчащего.

– Мой Боже, – начал прибывший, – что же это за осенний вечер, бурный, холодный, слякотный... а вы тут одни сидите? Так мне грустно сделалось, что, может быть, ненужным пришёл. Если бы я мог вам в чём-нибудь послужить, хотя бы для рубки веток...

В это время зажжённый свет позволил лучше разглядеть гостя, который, держа шапку в руке, какой-то встревоженный, несмелый, стоял посередке, оглядываясь кругом.

Был это мужчина уже не очень молодой, добрых средних лет, среднего роста, с лицом пожелтевшим и загорелым, словно не под нашим солнцем, по которому спадали длинные ненапудренные волосы, только чёрной лентой связанные сзади.

Черты его лица не были красивы, на первый взгляд не казались примечательными, только более долгое общение учило в них читать и постепенно проясняло их блеск и величие. Губы довольно большие, нос немного задранный, подбородок тупо усечённый, глаза маленькие, лоб широкий и ясный составляли в целом почти обычные лицо, но его выражение дышало силой, спокойствием и добротой. Был это облик, каких в нашей стране встречаются тысячи, тип, несомненно, наш, родной, но поднятый какой-то внутренней силой до чрезвычайной мощи. Отгадать было трудно, что ему давало этот необычный блеск и это излучение – он имел в себе ту неуловимую тайну красоты, какими иногда самые обычные черты позолачивает чувство и идея, которая им владеет... Кто его видел однажды, тот непреднамеренно обращал взгляд на него, ища слова загадки, какой была физиономия этого невзрачного и необычного человека.

Его простая одежда не отличалась ничем – он имел на себе тип серой венгерки немного солдатского кроя, с зелёными шнурками, и длинные чёрные ботинки до колен.

## V

– А может, к моим дамам, вместо того, чтобы прибыть с услугой, которой вы не требуете, я навязчиво пришёл не в пору? – спросил он почти несмело, посмотрев на холодное выражение старшей женщины.

– О! Прошу вас, – ответила мать, – больных и бедных проведать – это поступок христианский...

А Хела прибавила:

– Как же вы можете это говорить! Вы всё же знаете, какой вы нам, сиротам, всегда милый гость. Но мы уже действительно думали, что сегодня в эту бурю, вихрь и слякоть прийти не захотите.

– Что мне там вихрь и слякоть, – сказал, садясь на придвинутом стуле, прибывший, – я служил когда-то в войсках и ко всему привык; я подумал, что вы тут одни, а тем срочней мне было прийти, что, по-видимому, я сюда уже не долго приходить буду...

Хела живо на него взглянула, но ещё быстрее опустила глаза к работе, потому что старшая измерила её суровым взглядом, словно хотела предостеречь.

– Да, да, – кончил незнакомец, – завтра, наверное, мои дела здесь я окончу... а послезавтра... нужно будет ехать!

Он вздохнул.

– Ехать? – спросила Хела. – Ехать?

– Да!.. Я должен, – прибавил гость грустно.

– Обязательно? – шепнула девушка.

– Если бы это было не обязанностью, – сказал, снова вздыхая, незнакомец, – думал бы я выдвигаться? Верьте мне, мои дамы, что мне тут хорошо, очень хорошо. Люблю это одиночество и тишину, люблю эту вашу пустошь и вечерние беседы при камине. Но напрасно, когда долг зовёт!

Он опустил голову и задумался.

– А так это грустно, – отозвался он снова через мгновение, – оставить добрых людей, милые лица, когда Бог знает, увидит ли он их ещё.

О! Жизнь, жизнь, мои пани; что же это за страшная пропасть, полная тайн – если бы её не освещала какая-то вера и надежда, вера в Бога и справедливость. Мы встретимся на той естественной юдоле плача – проходной – поздороваемся глазами, пожмём чуть руки, иногда наше сердце ударит – дальше в дорогу, дальше, ибо судьба хлещет бичом и гонит, как стадо коней... в степи.

Хела глядела на него, когда он говорил так, смущённый, склонившийся, с головой, опущенной к полу.

– Но иногда, – добавила она спустя мгновение, – ведь против этих бичей судьбы можно бы сопротивляться и противостоять?

– Так это кажется по молодости, моя пани, – сказал гость, поднимая взор и снова упирая голову на руки, – но когда в более поздних годах от её ударов остаются шрамы, когда в битвах силы слабеют, человек уже как заезженный конь, идёт послушный под бичом, в хомуте и не думает сопротивляться... лишь бы до конца!

## VI

Незнакомый гость договаривал эти слова, когда его взгляд случайно упал на противоположную стену, которую более живым блеском осветила стоящая на столе свеча; говорил, а глаза его, уставленные в неё, казалось, замечают что-то странное, беспокоящее; он поднялся, задвигался, удивлённый.

Над канapé не было, однако же, ничего, кроме нескольких медальонов с чёрными силуэтами, выцветшими на дне, а в середине висел немного побольше, на котором из волос довольно искусно был сделан какой-то герб и ловко связанные нечитаемые инициалы. Путались в нём во вкусе века сложенные буквы, как бы составляющие какую-то загадку для отгадывания.

Смотря на стену, гость перестал говорить, так было возбуждено его любопытство, что он вдруг, схватив свечу, подошёл к стене и начал внимательно присматриваться к медальонам и статуэткам.

– Мне кажется, – проговорил он, – что я здесь этого у вас раньше не видел.

– А! Потому что это Хела только сегодня достала, – отозвалась старшая, – и не знаю, для чего повесила на влажной стене... В этой бедной хате это кажется неизвестно чем... а это есть наши памятки!

– Я этот силуэт знаю! Это, пожалуй, он! Да! Это он! – сказал гость, приближаясь к тому, который представлял молодого мужчину... бюст был окружён венком, а внизу имел эмблему музыки...

Хела всё время смотрела внимательно на него.

– Это он! Откуда у вас это изображение? – спросил живо незнакомец, обращаясь к женщинам.

– Это моя собственность, – ответила Хела, – это памятка по моему достойному другу... по учителю, которому обязана тем немногим, что умею...

– Как это? Значит, вы знали Вацлава Свободу?

– А вы? Вы так же его знали? – спросила Хела, срываясь со стула.

– Я! Это был мой сердечный, наилучший некогда друг, – ответил гость со вздохом, – один из тех людей, которых, когда у нас судьба его отбирает, кажется, словно вырвали часть собственной души... Эти медальоны! Смилуйтесь, дорогие пани, каким образом вы их получили?

– Эти все три медальона: свой, какой-то незнакомой нам женщины и с инициалами, – ответила старшая, – Свобода принёс Хели, желая, чтобы она их сохранила... не знаю для чего... Было это несколькими днями ранее его смерти. Не знаю, предчувствовал ли что, но был какой-то грустный и погружённый... Вскоре затем, вы, наверное, знаете, как он неожиданно такой страшной смертью...

Свобода привязался к Хели, когда она была ещё ребёнком, словно к собственному ребёнку... любил её, как мы... А! Был это человек редкой доброты, сердца, каких мало... Все более свободные часы, он, что был весь поглощён лекциями, имел так мало времени, посвящал воспитанию сиротки.

Гость внимательно всматривался в Хелу, которая сидела молчащая и грустная... воспоминание её сиротства, старого умершего друга заволокли лицо её тучей, слёзы покатались по красивому лицу.

– Вы знали его! – воскликнула, вытирая лицо, Хелена. – Я была почти ребёнком, когда его встретило это несчастье... Скажите мне, вы знаете, наверное, что-то больше, чем мы, что означала эта его ужасная смерть? Моя добрая опекунша мало мне что о том случае могла поведать по той причине, что мало знала сама... Чем этот человек ангельской доброты мог заслужить такую смерть? Что послужило причиной преступления? Смилуйся, пан, – добавила она горячо, хватая его за руку, – может, другой раз в жизни мне не случится встретить кого-то, кто бы его знал, как мы, и мог мне дать сведения о нём... это был для меня, а! как бы приёмный отец, я всем обязана этой опекунше, матери и ему. Ты понимаешь, как меня всё, что его касается, интересует. О! Прошу, прошу вас, не отказывайте мне...

Гость, как если бы молча спрашивал разрешения у старшей, посмотрел на неё; та, не показывая никакого смущения, также, конечно, и любопытства, начала говорить, как бы приготавливая его к дальнейшему повествованию.

## VII

– Говори, пан, мы очень тебя просим, – сказала она, – и меня также это интересует, потому что мы были его друзьями...

Я хотела бы, чтобы и у бедной Хелуси сердце немного успокоилось... Это не простое любопытство с нашей стороны.

Я говорила уже, мне кажется, пан, что Хелуня, которую я люблю как дочь, а она мне также платит сердцем ребёнка, она моя и есть, приёмная только... в действительности сирота... Мы не знаем даже её родителей, так несчастливо для неё сложилось...

Гость одобрительно склонил голову и смотрел на красивую и грустную ещё от этого воспоминания Хелу с большим, чем вначале, напряжённым вниманием, как бы в её чертах искал какое-нибудь сходство... каких-то следов, утверждающих рождающиеся домыслы.

– Нет у меня сейчас никаких тайн от Хели, – говорила далее старшая, – не хочу от неё скрывать, чтобы бедняжка не терялась в догадках напрасно... я хотела бы, чтобы её судьба прояснилась, но сегодня этого уже трудно ожидать – столько лет утекло!

Была я в то время ещё очень молодой, мы только что поженились. Я и мой покойный муж жили в Варшаве, так как мой Ксаверий служил в маршалковской канцелярии и был писарем при самом князе маршалке. Хотя на пенсию и разные побочные доходы мы едва могли выжить, но сохранялась надежда, что честного человека честные люди протолкнут. Мы имели друзей и протекцию. Ксаверию тогда ещё разные вещи в голову приходили... Ему казалось, что мы должны добиться лучшей судьбы работой и вежливостью. Он также рад был меня в этой надежде подготавливать к великолепному жизни и, хотя уже замужней, навязывал учителей, велел больше заниматься с книгой, нежели хозяйством... Ему особенно казалось, что из моего голоса, хотя в нём не было в самом деле ничего особенного, что-то сумеет сделать; обязательно хотел, заклинал, просил, чтобы я училась музыки и пению. Однажды, не зная, откуда его взяв, он привёл мне метра, как раз этого чеха Свободу.

Вы знали его, стало быть, долго о нём нет необходимости говорить. Он был редкой доброты, скромности, мягкости человек; малоизвестный и не желающий славы и гласности, влюблённый в музыку аж до смешного. Для него на свете не было уже ничего, чтобы поставить рядом с ней.

Несколько дней перед этим, как он мне поведал, он прибыл в Варшаву, пешим, с маленькой сумочкой на спине, в которой было больше нот, чем белья, с молодым весельем и надеждой. Он быстро стал известен в столице своим прекрасным талантом, потому что чудесно играл, как

вам известно, на клавикорде и скрипках, а пел ещё чудесней. Когда иногда на хоре в костёле арию какую-нибудь брал на себя, то все забывали о молитве, заслушиваясь... Начал тогда давать лекции в панских домах и, как только мог на повседневный хлеб заработать, уже большего не желал... Экономил, чтобы купить какое-нибудь такое фортепиано... а достав его... чуть с ума не сходил...

Приятной сладости характера, услужливый, вежливый, скромный – что мужчине также не мешает – красивого лица и фигуры, был повсеместно любимым и разрываемым... и если бы хотел, мог прекрасно даже жениться... но для него музыка была всем.

– Я помню его, как если бы его вчера видел, – добавил гость, – высокого роста, брюнет, прекрасные волосы, чёрные глаза, полные выразительности и слезливые... улыбка, какой я с той поры ни на одних человеческих устах не видел... Кто его узнал, должен был полюбить – казалось, что он не мог иметь на свете врага.

– Так Свобода, – кончила старшая, – и мне начал было давать лекции на клавикорде, потом немного пения, бывал в нашем доме очень часто, его приглашал муж, желая отблагодарить, потому что так дорого, как иные за лекции, не платил, а после панских дворцов и церемоний ему должно было показаться у нас как в семье (это его собственные слова, которые я слышала из его уст), поэтому гостил хоть без лекции, играл, рассказывал, а мы слушали... С моим мужем сделались приятелями, как братья, я также к нему привязалась, как к родственнику... не было у нас почти дня без Свободы.

Не много я там от него научилась музыке, потому что то была фантазия покойного Ксаверия, а я только, чтобы ему угодить, мучилась над клавикордом, хотя в действительности таланта не имела. Мне было приятно, что Ксаверий нашёл друга, так как в действительности этот человек был дорогое сокровище.

– О, моя пани, говорить мне этого не нужно, я хорошо его знал... в то время и позже, – сказал гость, – а любил его, верно, не меньше вас... Сердце было ангельское... юмор детский, весёлость какая-то чистая, спокойная, я сказал бы, женская, девичья...

## VIII

– Как раз в то время, когда он так подружился с нами, через год, кажется... Бог дал нам вот эту сиротку Хелусю... Могу сказать, что нам её Бог дал, так как и сейчас она мне жизнь услаждает, она удерживает меня при жизни и обильно наградила за каплю заботы о ней в детстве.

Хела поцеловала руку приёмной матери.

– Этот случай был для меня памятный, – говорила далее Ксаверова, – а до сегодняшнего дня ещё таинственный и невыясненный. Расскажу его пану, который выказывает нам столько приязни... редко кому выпадает что-нибудь подобное...

Моего мужа тогда в доме не было, взял его для писем князь маршалек, поехали в деревню. Я сидела, как сейчас помню, с утра, крутась возле хозяйства, когда постучали в дверь... Видя совсем мне незнакомого серьёзного мужчину, уже немолодого, я думала, что он ошибся дверью, когда очень отчётливо назвав мою фамилию, спросил меня, я ли... пани Ксаверова... Удивлённая, я впустила его в квартиру. Тут, никого не видя, он начал с вопроса, одни ли мы и можно ли говорить со мной доверительно... заклиная, чтобы я, соглашусь ли на его просьбу или нет, сохранила её в самой глубокой тайне. Всё это мне казалось каким-то ошибочным, но любопытство победило. Заколебавшись поначалу, я дала слово. Тогда он снова начал, расстраиваясь над тем, как много о нас хорошего слышал... словно был рад стать нам полезным и в чём-то нам помочь. Но имени своего ещё не выявил. Я спросила его о нём – он ответил мне вежливо, что это к делу не относится и что о нём узнаю позднее. После долгих разговоров он, наконец, сказал мне, что пришёл предложить очень выгодное соглашение... что когда соб-

ственных детей не имеем, хочет нам на воспитание доверить сиротку, не имеющую ни отца, ни матери и отданную в его опеку.

Откуда о нас услышал, кто ему эту мысль подал – этого он сказать мне не хотел. Он также прибавил, что из-за некоторых причин фамилии даже родителей ребёнка сказать не может, но это откроет нам позже... потому что супруги из-за семейных помех были под секретом и т. п. Предлагал при этом ежегодно платить за образование Хели несколько сот дукатов, которые нам при нашей щуплой пенсии существенно могли помочь.

Хотя меня это очень удивило и немного испугало, ребёнку радовалась, потому что детей любила, а собственных мне Господь Бог не дал... однако же я не смела ни вступать ни в какие соглашения, ни обещать без ведома моего мужа – и отложила окончательное решение до его возвращения.

Этот пожилой господин, признав правильным, согласился на это. Я с нетерпением ждала Ксаверия, а спустя несколько дней, когда он прибыл, рассказала ему сразу всё. Он долго думал, колебался, но я его так просила, уговаривала, что, в конце концов, он согласился на всё.

Этот господин, который был известным и уважаемым в Варшаве врачом, как оказалось, пришёл к нам сразу по возвращению маршалка – быстро уложили вещи и того же вечера привезли нам ребёнка.

Бог свидетель, она мне так дорога, как своя собственная.

Хела, вздохнув, вытерла украдкой слёзы, а Ксаверова говорила дальше:

– Дом наш развеселился, в меня вошла новая жизнь. Так нам было хорошо с нашей сироткой, не считая того, что очень прибыла нам в помощь. Когда нам сам доктор её вечером привёз в карете, я искала сразу на младенце, на шейке, нет ли какого знака, памятки, медальона... но не нашла ничего... Доктор мне только объявил, что девочка была крещена, что имела имя Хелена, а до времени должна была остаться... безымянной...

Объяснить себе трудно, почему родители о ней не вспомнили, не разгласили... потому что, хоть доктор говорил, что умерли... однако же, казалось нам, что это он умышленно только нам поведал... В первые годы несколько раз, когда меня в доме не было, я знаю, что какая-то пани приезжала вечером с доктором, дабы посмотреть ребёнка. После каждого раза и для него, и для нас что-то оставляла. В течении нескольких лет нам очень регулярно платили пенсию Хели, лекарь часто дознавался... позже эта незнакомая пани бывать перестала, а я почти радовалась, боясь, чтобы у нас ребёнка, к которому я привязалась, не отобрали. Ребёнок этот рос, благодарение Богу, счастливо. Свобода, наш друг, согласно своей привычке, в нашем доме бывал почти каждый день. Это было доброе сердце и нуждающееся в привязанности, как мы оба, так и он полюбил нашу Хелену, привык к ней и даже баловать её нам начал. Сидел с ней часами на полу, нянчил, играл с ней, словно сам был ребёнком, приносил ей игрушки, сладости, кормил, ласкал, наряжал, носил, а как только она подумывала чему-то учиться, он клялся, что другого учителя, кроме него, она иметь не будет. О! Это был добродушный, сердечный человек.

– О! И я также была к нему привязана, – добавила из тишины Хела, – словно к старшему брату... а когда день его не видела, тоскливо мне было и плакать хотелось... Но в грустном моём предназначении было то, чтобы всё, что могло усладить мне жизнь, сверкнуло только и исчезло. Я как раз получила и, когда наиболее нуждалась в таком учителе... Господь Бог у меня его отобрал... И это ещё таким неожиданным образом, таким жестоким, таким загадочным... как вся моя жизнь...

– Я знаю, – прервал гость, – знаю, помню этот случай. Я был тогда в Варшаве и случай хотел, чтобы я первым вошёл в выломанную дверь его квартиры. О! Я помню эту ужасную минуту... и до сегодняшнего дня не понимаю, не догадываюсь, какая могла быть причина этого преступления...

## IX

В молчании заслушавшиеся женщины глядели на рассказывающего, который так дальше продолжал тихим голосом:

– Со Свободой я познакомился почти с его прибытия в Варшаву, наша дружба росла с каждым днём, не имел он от меня тайн... Я знал его знакомства... Людей, с которыми он жил, круги, в которых он обычно вращался, дома, в которых он бывал наиболее часто, мещан и господ ближе ему знакомых... я мог бы поклясться, что этот человек не имел врагов. Кого бы он своей добротой и сладостью не разоружил, кого же и чем бы мог восстановить против себя? Для меня и для всех эта жестокая смерть его осталась непонятной загадкой... Я служил тогда ещё в войске, – добавил гость, – и шёл именно в казармы, когда на улице заметил толпу людей, бегущих к Беднарской и кто-то бросил мне новость, что там совершено какое-то преступление... что убили какого-то иностранца, музыканта... Меня кольнуло то, что я помнил, что там жил Свобода. Я побежал за другими. Толпа уже окружала дом... но до середины ещё никто не достал... потому что ворота заперли... Я узнал, что Свобода два дня уже не показывался, это возбудило подозрение, а что двери были закрыты, приставили лестницу к окну и увидели в комнатке... лужу крови и лежащий труп... Я как раз вошёл, когда городские прислужники выломали двери, знакомый мне урядник взял меня с собой. При входе меня поразило ужасное зрелище...

На незастеленном ложе, рядом с открытым клавикордом и нотами, которые он начал писать (перо лежало на полу), мы увидели его в полном вечернем одеянии, сверху расстёгнутого, но с лицом как бы спящим и спокойным... Одна рука у него была свешена, другой же во время удара схватился за грудь и осталась так конвульсивно стиснутая... Но, как если бы не защищался, ни сопротивлялся убийце, как бы добровольно поддался или был спящим во время нападения, не было следа никакого насилия, борьбы, резни... Ничего вокруг мы не нашли разбитым, пошарпанным... На полу чернела капля крови, на одежде – струя застывшей крови, а в грудь в самое сердце был вбит по самую рукоять стилет...

Убийца, не имея времени или смелости вынуть из раны оружие, оставил его, как бы на свидетельство по себе. О самоубийстве даже нельзя было и думать, хотя были и такие, что его в нём подозревали. Я, что видел лежащие останки, уверен, что сам он убить себя не мог. Нельзя также было это нападение приписать жадности, так как на что бы польстился убийца у бедного? Дорогой перстень на пальце, бриллиантовая булавка в одежде – подарки друзей и учениц, остались нетронутыми, хотя были очень видны... В открытом ящике маленький денежный запас лежал также нетронутым. Несмотря на это, шкатулка разбита, стол отодвинут, все тайники, видимо, были обысканы и обворованы, а что всего удивительней – в камине видна была куча пепла от сожжённых бумаг.

Убийца, который по неизвестным причинам, уничтожив какие-то письма, записки... и боясь, может, чтобы по их пепельным остаткам не отгадали чего-то ещё, затоптал и затушил ногами, так, что на пепле я нашёл отчётливый отпечаток мужской обуви... Меня это поразило, я, может быть, один, вошедший, заметил след стопы, мне казалось, что нога была маленькой, а ботинок изящной работы с подошвой. Позднее влетел сквозняк и этот пепел разворошил... Я разгребал сожжённые бумаги: они были старательно уничтожены, но маленькие частички недогоревшей бумаги казались остатками писем...

Когда началось расследование, достав стилет из раны, естественно старались о чём-нибудь догадаться по нему, напасть на какие-нибудь следствия преступления – но тут снова представилась другая сторона неразрешимой загадки. Стилет был предивной итальянской работы, очень дорогой, с рукоятью из чистого золота, представляющей скелет, покрытый саваном... Эта скульптурка, служащая за улику, была так мастерски сделана, что сам его вели-

чество король, который велел принести его себе для осмотра, оценил его работой Бенвенуто Челлини, одного из наиславнейших итальянских скульпторов. Откуда такое сокровище могло попасть в руки убийце?

Этот день, эти часы, которые я провёл в квартире моего друга, не выдут никогда у меня из памяти; долгое время образ убитого Свободы, его чернеющее лицо и мягкое его выражение, словно прощал убийцу... повторялись мне в снах. Возмущённый, я с наибольшим вниманием искал следы, которые могли бы навести на какую-нибудь догадку... но тогда я был слишком разгневан, чтобы обратить внимание на мелочи... а потом не было уже времени повторить... так как вещи и комнатка были опечатаны... Я помню только, что первоначальная обстановка была наполовину изменена и запятнана как бы брошенным на неё пером, что стулья, казалось, дают право заключить, что убийца какое-то время сидел напротив Свободы... Со стены над кроватью должно было быть сорвано какое-то изображение, потому что после него остался только вбитый гвоздь.

## Х

Этот случай не только на меня и друзей бедного музыканта, но во всём городе произвёл чрезвычайное впечатление, долгое время умы успокоиться не могли, взывали отовсюду к справедливой мести, но поиски были совершенно безрезультатны...

Эта смерть осталась, как была, непонятной для всех загадкой, которой жизнь умершего никоим образом объяснить не могла. Мы знали все его отношения, дома, в которых он часто бывал, повсеместную любовь, какая его окружала: ни ревность, ни жадность, ни личное оскорбление не казались возможными, потому что Свобода был великого внутреннего мира, не имел близких связей почти ни с кем, за исключением нескольких друзей, а заядлого врага не мог иметь ни одного.

Можно себе представить, какой тревогой и беспокойством этот случай охватил умы; толпы постоянно ходили осматривать место, на котором было совершено преступление; было допущено множество глупцов, ломали себе головы, почти закончили на том, что, пожалуй, он пал жертвой странной ошибки. Но как же было в таком случае объяснить уничтоженные бумаги, сожжённые в камине письма, розыски в квартире, след которых был так ещё виден?

Второй этаж каменицы, в которой жил Свобода, занимал небольшой ресторан; расспрашивали слуг и гостей. Некоторые припомнили, что вечером того дня, когда предположительно совершили убийство, мужчина высокого роста, широкоплечий, покрытый плащом, в шляпе, надвинутой на глаза, спросил внизу о музыканте, потом пошёл на лестницу и после его ухода, музыка, которая была сперва слышна, сразу стихла. Ни малейшего шума, голосов, борьбы... никто не заметил. Довольно поздно этот незнакомец прытко выскользнул из дома, закутанный плащом, и напевая по дороге, наверное, чтобы показаться спокойным. Свет, который обычно очень долго был виден в окне музыканта, в этот день погас очень рано. Дверь была закрыта на ключ, а ключ этот исчез...

Это было всё, что мы, его друзья, могли выследить... оказалось, однако, что Свобода в самой большом секрете скрывал какую-то тайную вечернюю встречу за городом... что несколько раз встретили его, возвращающимся со стороны Лазинек и объясниться не хотел и не умел, где своё время провёл... Нужно было допустить, что какая-то ревность направляла, пожалуй, руку убийцы, но кто знает обычаи века, тот с трудом согласится на то, что подобная страсть могла толкнуть у нас даже на преступление.

На похороны Свободы сбежались толпы, ряды карет шли за гробом, всеобщее сочувствие сопровождало его до могилы – но потом, когда наговорились, надумались, напридумывали странных сказок... бедный человек остался забытым, как на свете обо всём забывают.



## XI

Хела с заплаканными глазами слушала повесть незнакомца, пани Ксаверова вздыхала.

– Я помню, – добавила она, – что позже, может, через год уже, крутился всеобщий роман о Свободе, якобы принятый за правдивый, что в него влюбилась какая-то богачка, пани с большим именем, что муж её узнал о том, выследил его, напал сам и убил...

– Слышал и я это, – добавил гость, – но, дорогая пани, мы пожимали плечами на эти байки... Мы видели варшавскую жизнь, множество скандалов, а всё-таки ни один не развязался так трагично.

Свобода, хотя издавна давал лекции в богатых домах, невозможно было допустить, чтобы скромный и несмелый человек мог поднять глаза на одну из больших пан и завязать тайно какие-то отношения... Впрочем, в то время кончилось это вполне иначе... По характеру музыкант, который большого света не любил, а от галантного общества бежал, можно заключить, что там для сердца не искал бы удовлетворения.

Мы посчитали потом все дома, особ, старались догадаться о чём-то более вероятном, не было ни тени, ни подозрения! Свобода из-за своего хорошо понимаемого чувства собственного достоинства из роли музыканта никогда не выходил, бывал только в часы лекции и приглашённый для показа. В домах более богатых мещан, где был желанным гостем, скорее с тростью, нежели со стилетом, встречался в случаях ревности. В конце концов ничего неизвестно и догадаться невозможно ни о чём.

## XII

– Преступник ушёл безнаказанно... – сказал со вздохом незнакомец.

– На суд Божий, – докончила Ксаверова. – Мы за несколько месяцев до этого происшествия замечали в Свободе большие перемены... Раньше – весёлый, милый, спокойный, можно сказать, счастливый, вдруг похудел, побледнел, стал задумчивым... на самый небольшой шелест дрожал, словно чего-то боялся... Часами, как раньше, играя с Хелусей, которую так любил, слова не выговаривал, только смотрел, больно улыбался, видно было, что его тяготила какая-то забота... Я иногда видела слёзы в его глазах, но он скрывал их.

Когда я ловила его на этих тоскливых размышлениях, он заверял меня, клялся, что у него ничего не случилось, и начинал шутить, смеяться, но ему это не шло, чаще потом убегал.

Я сильно также удивлялась, когда однажды принёс Хелуси своё изображение и два эти медальона, которые просил, чтобы сохранили... *«Если о нём вспомню, – сказал он, – то отдайте его мне, а нет, то пусть у Хели останется, будет иметь памятку обо мне».*

Другой медальон, как вы видите, изображает женщину, красивый профиль, одежда большой пани... но в этом мраке кто чего догадается. Я в то время осмелилась его спросить, кто это такая была? – он мне живо ответил:

*«Это моя сестра...»*

Он забыл, что раньше как-то, когда я его спрашивала о братьях и сёстрах, он бесспорно говорил, что их не имел, что был один и сиротой.

– Моя сестра, – повторил мне потихоньку, – добрая, любимая сестра, которая меня одна в жизни любила... Но я её потерял...

Только позже я заметила на другой стороне медальона побледневшими чернилами, нечитаемое, написанное женской рукой по-французски:

*A mon ami Venceslas – Louise.*

– Этот второй медальон, – говорила Ксаверова, показывая при свете гостю, который внимательно рассматривал оба, – имеет только инициалы из волос, в которых кажется разборчи-

вой только L... но, впрочем, пожалуй, никто не прочтает, потому что закорючка специально запутана. По гербу я также не могла бы узнать чей, потому что не знаю о том...

Гость долго всматривался, потом, молча, положил оба медальона на стол.

Его поразило то, что, по какой-то случайности, профиль женского медальона был схож с красивыми чертами Хели.

Герб был известный, но в каждом из них столько у нас семей насчитывается, что угадать было трудно, которой он мог служить.

Гость, задумчивый, молчащий, не обращая своего внимания на женщин, сидел словно прибитый воспоминаниями о друге.

– Много вы, пани, потеряли со смертью такого человека, – сказал он спустя минуту, – который умел любить... а был таким сердечным, к кому привязывался.

– О, мой добрый пане, – отозвалась старшая, – Бог знает, как это произошло, но смерть его была как бы пророческой и началом всех наших несчастий – с неё они начались.

Как-то через полгода после убийства Свободы мы со страхом узнали, что лекарь, который нам доверил Хелусю, человек уже старый, неожиданно умер, сваленный апоплексией. Муж побежал узнавать, не было ли приписки в завещании насчёт ребёнка, либо распоряжения, касательно его, но не в завещании, ни в бумагах ничего не нашлось.

Мы ждали год, полтора, два – никто уже к ребёнку ни с оплатой, ни с какой новостью от семьи не объявился...

Впрочем, о том речь не шла, потому что я не отдала бы Хелуси, но жилось нам всё как-то хуже. Мне Бог дал Юлку, второго ребёнка, для которого она была сестрой, няней, учительницей – всем. Дом снова наш повеселел на короткое время, но как это счастье не продолжается на свете, муж снова начал болеть...

Доктора совещались, заливали его лекарствами, словно глотал смерть, сох бедняга всё больше, ничто его спасти не могло, умер, оставляя нас троих на милость Божью, почти без гроша, без друзей и семьи... сиротами...

С помощью доброй Хели, которая рано научилась работать, мы прожили несколько лет в городе, но жилось нам со дня на день тяжелей и тяжелей.

Юлка начала бледнеть, болеть, кашлять, врачи велели обязательно вывезти её на деревенский воздух.

Родственник князя маршалка дал нам это схождение на деревне. Достойный пан сделал это из лучшего сердца, но, видно, никогда в этом владении не бывал, не знал его, не видел, какой нам тут милый приют выделит советник. Мы приехали, нас приняли презрительно и определили вот этот уничтоженный пустырь, в котором много лет никто не жил... а я едва имела за что пошить и облепить, чтобы как-то высидеть...

В пане советнике вместо опекуна мы нашли преследователя. Вот вся наша жизнь, – dokonчила Ксаверова, – а что дальше будет, это уж один Бог знает.

### ХІІІ

– Если бы вы меня, мои добрые дамы, хотели послушать, – отозвался гость после раздумья, – а! может, мы бы также что-нибудь придумали. Вам тут на деревне выжить всё труднее будет, потому что работой вашей вы ничуть не сделаете, а что до тяжёлой работы, то и вы не привыкшие, и она бы вам хлеб не дала. Однако же Юлке, должно быть, лучше!

Мать посмотрела на альков, прежде чем собралась ответить, – боялась, видимо, чтобы ребёнок не услышал, а хотя Юлка казалась спящей, кивнула отрицательно головой, громко говоря:

– Да, лучше, ей лучше!

– Значит, вы могли бы безопасно вернуться в Варшаву. У меня, – добавил он, – есть там немного знакомых, я мог бы дать письма к людям, чтобы занялись вашей судьбой. Я нашёл бы подходящую работу для панны Хелены...

Впрочем, – сказал он, подумав, – я тоже, может, вскоре... не знаю, окажусь в столице, мог бы там быть вам полезным...

Он посмотрел на Хелю, которая, дрожа, смущённая, смотрела на него.

– Я, – добавила Ксаверова, – уже не имею там ни знакомых, ни родственников... У меня была там единокровная сестра, лет на десять младше меня, но та... та, как-то не особенно пошла... Говорят, что она и теперь в Варшаве, говорят, что ей неплохо живётся, но к ней пойти не могу... О! Нет!

Может, мы бы, – говорила она дальше, – приняли от вас эту жертву... Но если уж вы к нам так добры, – добавила с чувством Ксаверова, – если вы имеете к сиротам столько приязни... позвольте, чтобы мы также узнали, кому мы будем обязаны благодарностью... потому что мы в самом деле не знаем...

Гость вдруг вскочил со стула, как бы показывая, что вопрос его живо беспокоил.

– Но что же там, – сказал он, – какая разница... Хотя повторил бы вам свою фамилию (потому что её, первый раз придя к вам, говорил) вы немного из неё узнаете. Я не являюсь человеком значительным на свете, не имею громкого имени, также не богатый, но Господь Бог дал мне немного друзей, связи...

– Почему ты, пан, так с этим скрываешься, кто ты? Однако же мы тебя не предадим, – смелей спросила Хела, красивыми глазами изучая до глубины его душу.

– Ради Бога! В этом нет тайны, – прервал, пожимая плечами, гость, – я не боюсь никакого предательства! Верьте мне, дорогие пани... Я приехал на деревню отдохнуть у достойного приходского священника... не скрывая ни себя и ни чего. Ради Бога! Прошу меня даже не подозревать в этом. Это плохо, очень плохо!!

Он говорил это весьма горячо. Хела как-то улыбнулась, недоверчиво покачивая головой.

– Видишь, пан, – сказала она, – сама эта ваша слишком живая защита уже в ком-нибудь ином могла бы возбудить подозрение... А всё-таки в том нет ничего странного, что хоть имя человека, который оказался для нас таким добрым, знать, помнить бы хотели.

– Да... да... доброжелательного, сердечно доброжелательного к вам человека! – воскликнул незнакомец, хватая Хелу за руку и всматриваясь ей в глаза. – Но захочешь ли, панна, о том старом друге помнить?

– Я женщина и любопытная, – добавила, настаивая, Хелена, – к имени друга хочу иметь и хорошую, точную... забытую фамилию...

– Однако же я вам его уже говорил, сразу первого вечера, когда меня сюда счастливая буря с дождём привела...

– Не помню, не слышала, – сказала Хелена.

Гость на какое-то время остановился, словно боролся сам с собой, и сказал смело:

– Меня зовут... меня зовут Тадеуш Сехновицкий... Видишь, панна Хелена, что тебе от этой фамилии? Во всяком случае, она ничего не скажет. Оно есть одним из той тысячи наших шляхетских имён, которые никогда не разглашались... с которыми ничего не связывается, кроме воспоминаний убожества и унижения.

Мы были бедны, а бедным всегда трудно подняться...

## XIV

Тихий голос разбуженной Юлки из алькова позвал мать к ложу ребёнка. Хела и пан Тадеуш остались одни. Он сидел возле неё на стуле, взял её за руку, которая ему сопротивлялась, и, словно мимовольно охваченный чувством, не будучи себе господином, сжимал дрожа-

щую руку в своей мужской руке. Но затем он опомнился и, как бы устыдившись перед самим собой, грустный, медленно её выпустил.

– Добрая панна Хелена, – сказал он тихо, – отпустите мне мою вину. Я старый, а при вас с ума схожу и забываюсь. В действительности у меня слишком молодое сердце, слишком живое, слишком легко привязывающееся, чтобы потом... страдало. Вы была ко мне так добры – это также смутило мне голову... Простите, забудьте... и будьте счастлива.

Он поцеловал ей руку.

– Сейчас, когда мне уже в любой день нужно отъехать, – говорил он тише, – я охвачен жалостью и горем, что привык тут к этой сладкой тишине, к милым с вами вечерам. Всё это придётся оставить, поехать и – быть забытым.

– И забыть, скажи, пан, скорей, – прервала Хелена, по-прежнему смотря на него, как бы хотела его изучить, – мы, бедные сироты, покинутые, одинокие, как же мы могли бы забыть о человеке милосердного сердца, который оказал нам сочувствие? Наши дни состоят теперь из одних воспоминаний, но вы, пане Тадеуш, вы, как мужчина, в деятельной жизни, в шуме её, если бы не хотели, забыть нас сможете.

– А! Нет! Нет! – живо отозвался гость. – У меня есть сердце, что не забывает... скучное, твёрдое... Трудно на нём пишется, но что написано, то длится и остаётся навеки. Верьте мне, состарился, много блуждал я по широкому свету, а одно из тех созданий, которых уважал, которых любил, с которыми меня благодарность связывала, не забыл до сегодняшнего дня. Они! Это что-то другое! Они... ни лица, ни имени, ни голоса моего не знали.

– Они! Это ваше сердце так много сразу поместить может? – спросила наивно Хела.

– Много? Нет, – сказал он, грустно улыбаясь, – сердце, панна Хелена, как ваши кладовые, должно иметь разные закрома для многочисленных воспоминаний. Каждое из них имеет свою отдельную... а в середине находится... алтарь и на алтаре... одно имя, один образ...

Девушка задвигала головкой.

– Кто бы снова смел мечтать об алтаре... достаточно хоть маленького укрытия в сердце.

– Этот алтарь давно перевернут, – сказал грустно пан Тадеуш, – в него ударила молния и, пожалуй, чудо бы его подняло снова.

Беседа становилась всё тише, всё доверчивей. Пан Тадеуш, не свой уже, взволнованный, от глаз Хелены воспламенился, видимо, забылся. Но в минуты, когда, может быть, более выразительное хотел сказать слово, лицо облеклось грустью, он снова отпустил её руку, и, как бы сам себя упрекая за несвоевременный запал молодости, медленно добавил:

– Что я вам о сердце плету! Я, который уже есть только руиной и пожарищем... При вас человек оживает на мгновение, а чуть за порог – снова ему на плечи возраст кладёт холодный халат осени... Простите мне, что иногда забреду, ошибусь, опьянюсь... но верьте, что старый ваш приятель, несмотря на это видимое непостоянство, будет достоин называться вашим другом. Уговорите мать, – добавил он доверчиво, – уговорите, пусть едет в Варшаву... Я туда приеду... но не раньше, мне кажется, как после Пасхи. Сейчас я бы вам ещё ехать в столицу не советовал, подождите... кто же знает, может быть война... может быть беспокойство... Там правят чужаки, но их правление не вечно. Если к весне ничто не воспрепятствует, прибудете, постараюсь вашу судьбу улучшить.

– Но как бы мы, – спросила Хела, – могли, даже очутившись в Варшаве, найти вас в этом огромном городе? Где вас искать? Кого спросить?

– Ведь до весны не выедете? – спросил он. – Ну а потом я вам дам знать, напишу, где меня можно будет отыскать...

– Не забудете?

– О, мой Боже! – воскликнул Тадеуш, складывая руки. – Разве я мог бы о вас забыть?

На эти слова вышла Ксаверова и прервала разговор, посмотрела беспокойно на Хелу, на него, пан Тадеуш, зарумянившись, достал часы.

– Двенадцатый час! Боже мой! Прошу меня простить! Так мне отсюда трудно вырваться... Доброй ночи, дамы.

– Всё-таки до свидания? – спросила Хела.

Гость склонил голову в знак согласия и исчез, спеша к дверям.

## XV

– Ты моя Хела! – сказала Ксаверова после ухода пана Тадеуша. – Верь мне, я люблю тебя, как собственного ребёнка... но начинаю бояться за тебя... Ты вскружила голову этому человеку, у тебя самой она тоже, вроде бы, закружилась... Кто же знает его... Сехновицкий, сам говорил, что бедный, немолодой, служил военным... мотался по свету... К чему тебя это приведёт? На что тебе это сдалось? Может, только на новые слёзы и несчастье.

Хела молчала, старуха через минуту начала снова:

– Его и себя баламутишь... Хотя бы даже хотел жениться... Что ж из того? Бедный, немолодой и неизвестный.

– Но он всё же говорил, что имеет друзей и связи, – прервала девушка.

– Друзья, друзья! – воскликнула Ксаверова. – Это хорошо для веселья, для грусти это ничто.

– Но я не думаю ни о браке, ни о будущем, – прервала Хелена, – а что он мне мил, я к нему странно привязалась... этого не отрицаю, мама, дорогая! Прекрасной доли я никогда не ожидала... сирота... ребёнок, которого отвергли собственные родители... без имени... что же мне терять!

– Но я, я тебя ни потерять не хочу... ни знать несчастной! – воскликнула старуха.

Хела поцеловала её колени.

– Хуже, чем сейчас, нам не будет, а лучше, пожалуй, быть может, он обещает – я верю в его слова, он не обманывал бы нас... На Пасху поедem в Варшаву, он там будет.

– Постоянно он! Он! Всегда он! – прервала старая, пожимая плечами.

– Да, он! Он один, – тихо повторила Хела. – Ругай меня... а уже иначе быть не может, ему одному верю... А! Это только несчастье, что послезавтра его уже тут не будет.

– И мне этот человек, – отозвалась Ксаверова, – кажется милым и достойным уважения, но две бедности хуже, нежели одна... Ты, со своим личиком, с твоим умом могла бы надеяться на более замечательную судьбу...

– Я никого себе не ожидаю, ни о ком не мечтаю, никого для себя не хочу, – сказала живо Хелена. – Он мне мил... но это всё... он не женится на мне, я за него не пойду!! Мама, не говори об этом.

– От этого вижу грусть и раздражение, – отозвалась Ксаверова, – что уже дальше между вами зашло, нежели я ожидала...

– Я от тебя не имею тайн, – отозвалась Хела, – видишь, слышишь, как мы с ним. Ничего он мне не говорил, я ничего ему не обещала... но, что он мне милее других – О! Это правда...

Старуха специально, может быть, прервала на этом разговор поцелуем, они обнялись, расчувствовавшись. Время было подумать об отдыхе; Хела побежала в альков, послушала дыхание Юлки, которая казалась спокойно спящей, приготовила кровать, закрыла дверь, внесла свет в альков и у бедного своего тапчаника, стоящего тут же при Юлке, опустилась на колени для молитвы...

Лицом она упала на коврик и плакала. Старая, сидя ещё у погасшего камина, издали смотрела ещё на эту удручённую фигуру, и слёзы брызнули из её глаз, заплакала сама.

## XVI

Утро следующего дня было туманным, день грустным, но около полудня на дороге, ведущей от усадьбы в городок, перед хатой, которую занимали женщины, было видно необычное движение... Перемещались различные личности, всадники, брички и собаки... Шли и возвращались к дворцу. Сам советник, пан Туборский, несколько раз ездил туда и сюда, беспокойный. Нанятый сторож, который каждое утро приходил прислуживать к женщинам, действительно знал, что кто-то прибыл ко двору, что кого-то искали, но не умел им лучше объяснить.

День был хмурый, хотя ночной ветер было утих. Хела с нетерпением ждала вечера, надеясь на прибытие пана Тадеуша; она заранее погрузилась, что уже сегодня должна будет с ним попрощаться... а какое-то предчувствие говорило ей, что это оживление во дворе могло быть для него угрожающим. Она подходила к окнам, до тех пор, пока было несколько светлей на дворе, прислушивалась к самому незначительному шелесту... всматривалась в лица прохожих, видела только, что многие из них были ей незнакомы и чужды...

В молчащем ожидании, когда начало темнеть, женщины сели у камина, но ожидали напрасно.

Допоздна никто не появился, наконец, около полуночи Хела потеряла надежду, что их милый гость мог бы прийти, видимо, что-то помешало.

Она немного тревожилась и вместе утешалась, что его ещё увидит, что отъезд, должно быть, отложен, потому что была уверена, что без прощания не уедет... а потому один день получила.

Ксаверова избегала разговора, была беспокойная и напуганная.

В полночь погасили наконец свет; заперев дверь, женщины пошли молиться и спать... Колонопреклонённая Хела у тапчаника ещё не окончила молитвы, когда среди тишины послышался лёгкий стук в окно спальни... Ксаверова сначала перепугалась, но Хела предчувствовала, знала, кто пришёл, прикрылась платком и смело побежала к окну...

Ночь была тёмная, она разглядела только фигуру, стоящую у окна, покрытую плащом... сердце её узнало в этой тени пана Тадеуша. На тихий вопрос ещё более тихий ответ подтвердил догадку Хели... которая живо приоткрыла половину окна... Этот поздний приход, таинственное подкрадывание к окну... ничего не обещали хорошего... это, верно, его днём искали!

– А! Это вы! – спросила она беспокойно. – Это вы! Мы предчувствовали, что должно произойти что-нибудь плохое! Почему же так поздно... Боже мой...

– Так получилось, – сказал живо пан Тадеуш, – что не мог с вами попрощаться, а немедленно вынужден уезжать, лошадь стоит неподалёку... Я повторяю: после Пасхи приезжайте в Варшаву... обо мне (не знаю, смогу ли я написать), о Тадеуше доведите у банкира Капостоса... хорошо запомните это имя...

Он подал через окно руку Хелене, которая также вытянула ему дрожащую руку... Он поцеловал её...

– Будьте здоровы, дамы... будьте здоровы... Бог даст... до встречи в лучшие времена, не забывайте обо мне... ни минуты дольше остаться не могу...

Тень исчезла, Хела стояла у окна, словно в неё ударила молния, оцепенелая... На тракте глухо, вдалеке был слышен топот коня, который постепенно становился тише и тише и наконец с шумом вихря слился в одно... Мать, опираясь на локти, смотрела в темноту... не слышала последних слов. Закрыли окно, но остаток ночи век не сомкнули, по причине, что по тракту постоянно проезжали возки и лошади, шум и голоса продолжались до дня.

## XVII

Только перед наступлением утра могли уснуть встревоженные женщины и проснулись, когда солнце было уже высоко. Ясное небо извещало одну из редких осенних улыбок, но погода не развеселила Ксаверову и Хелену, которых обременяли одиночество без опеки, тоска по потерянному гостю. Они чувствовали теперь себя больше, чем когда-либо, покинутыми... И маленькая Юлка, которая очень любила пана Тадеуша, дулась на него, что уехал, даже с ней не попрощавшись.

Было уже около полудня, когда на дороге от усадьбы до местечка показалась какая-то чужая фигура, внимательно разглядывающаяся, как будто искала именно хату, в которой жили женщины. Был это немолодой мужчина, недавно, видно, прибывший, потому что его никогда ещё не видели Хела и Ксаверова.

Лицо и сложение имели в себе что-то весьма отталкивающее, так, что заметив его, приближающегося, Хела от страха заперла дверь, потому что он упорно кружил около домика, как бы искал вход.

Человек был высокого роста, но сильно сгорбленный, с опущенной головой и взглядом исподлобья, лицо имел удлинённое, худое, жёлтое, сморщенное, глазки маленькие, хитрые и бегающие, выбритую чуприну и седеющие усы. На голове имел шапку-рогативку, изношенную и помятую, длинные чёрные грязные ботинки и маленькую сабелку, как бы только для пропорции прицепленную у ремня.

И взор, и походка, и выражение губ, сильно стиснутых под усами, так, что две складки из-под них разделяли его лицо, пробуждали отвращение и страх.

Казалось, он чего-то искал, о чём-то думал, шёл несмело, украдкой, изучая местность и присматриваясь к тропинкам; прищуривал глаза, рассматривался, шёл, поворачивал, наконец, махнув рукой, подошёл прямо к двери хаты, попробовал её отворить и, найдя её запертой, постучал.

– Что это, и на деревне запираются! – воскликнул он.

– Кто там? – спросила Хела.

– Э! Кто там! Ну! Путник, который имеет сказать два слова.

Между старухой и Хелей завязался тихий спор: отворить ему или нет. Казалось, безопасней было отворить и быстро от него избавиться, чем выводить его из терпения и держать на пороге.

Хела отперла дверь, незнакомец тихо вошёл, глазами сразу повёл по всем углам, взор долго задержал на красивом лице, проник им даже в альков и, прежде чем заговорил, уже беспокойными глазами всю хату обчистил.

– Слава Ему! – сказал он охрипшим голосом.

– Навеки! Чего вам нужно? – спросила Хела, задерживая его на пороге.

– Путник, путник, у меня ось сломалась на дороге... ремонтируют холопы... ну, утро холодное, вот, вольно отогреться немного...

– Удобней было бы где-нибудь в другом месте, недалеко постоялый двор, – отвечала Хела, – у нас огонь погас и знаете... а вы всё-таки шли в усадьбу.

– Ну, да! Да! – отрезал путник мрачно, уже садясь прямо на лавку, хотя вовсе без приглашения. – Но тут у вас негостеприимные пороги... нигде по-людски человека не примут... Чёрт знает что! Тепла у вас не заберу и воздуха не выдышу.

Хела, не желая с ним дольше говорить, прошла в альков, но на её место вошла старуха, которую путник приветствовал кивком головы. И Ксаверова и он взаимно друг к другу присматривались, на лицах обоих было видно изумление, отвращение и страх в глазах женщины,

оба казалось, узнают друг друга и, однако, ни он, ни она не показали этого по себе. Наконец Ксаверова проговорила:

– Откуда же Господь Бог привёл?

– Что ты там спрашиваешь, – ответил мрачно сидящий, – ничего интересного не узнаешь... Ну! Путник! Триста дьяволов! Ось моя лопнула... припозднился. Ведь это Доброхов?

– А Доброхов, – подтвердила женщина.

– Кто же тут живёт в усадьбе?

– Но ты же идёшь из усадьбы. Пан советник.

– А в доме священника?

– Ксендз-пробош.

– Да! Он имел, видимо, в эти дни порядочно гостей... гм?..

Ксаверова осторожно воздержалась от ясного ответа.

– Я там ничего не знаю...

– Ничего не знаю, ничего не знаю, – крутя головой, сказал прибывший, но всё-таки из этих гостей здесь кто-то и у вас вечерами бывал?

– Оставьте меня в покое! Это вас не касается! – промурчала женщина. – Никто у нас не бывал и не бывает.

Прибывший огляделся, потянул за усы... вроде бы одобрил, принимая более сладкую мину.

– Это прискорбно, что от вашей милости нельзя ничего узнать, так как пробоша не нашёл... а приехал я как раз по срочному делу, чтобы увидеться с тем... тем... вы знаете... это мой старый приятель... триста... Вы можете мне открыто поведать, где его найти. Верно, ещё не выехал? Должно быть, где-то скрывается? Гм? У меня к нему очень важное дело... гм?

Старуха молчала, случайно её взгляд упал на Хелу, стоящую в дверях алькова, та давала ей знаки, чтобы с чем-нибудь не проболталась – инстинкт обоих предостерегал об опасности. Ксаверовой даже не был нужен этот знак, лицо и человек были ей, по всей видимости, давно знакомы. Она пожала плечами.

– Я в самом деле не понимаю, о ком это вы спрашиваете, – отвечала она, – мы тут одни, бедные и никто у нас не бывает, ни о ком не знаем.

Вы могли бы лучше доведаться в усадьбе...

Пришелец крутил головой с какой-то насмешливой миной.

– В усадьбе о них там кто-нибудь другой поспрашивает, – сказал он, – в усадьбе! Именно тут можно расспросит о чём-нибудь и о ком-нибудь! Триста... Всё-таки я к нему прибыл.

– К кому? – спросила Ксаверова.

– Ну! Ну! Вы меня понимаете, о чём я говорю. А кто его знает, как он тут назвался. Человек среднего роста... серая венгерка, длинные волосы, задранный нос... сапоги до колен... Ну! Всё-таки вы его знаете... я его знаю... а и то знаю, что сюда каждый вечер ходил и допоздна просиживал...

Ксаверова, немного смешавшись, старалась не показать этого по себе, качала головой.

– Я ни о нём и ни о ком не знаю, у нас никто не бывает, ни вечером, ни днём, узнавай, милостивый государь, в другом месте.

Она договорила эти слова, когда дверь отворилась и другой мужчина показался на пороге. Был это кто-то, одетый по-иностранному, военная фигура, огромный рост, так, что в дверях должен был нагибаться, лицо какое-то калмыцкое...

– Ну? А что? Допросили? – спросил он, не здороваясь.

– Говорить не хотят... – проговорил первый.

Военный обернулся к Ксаверовой с суровым выражением лица.

– Что это! Не хотят говорить! Не хотят! Как это может быть! Они мне тут сразу должны рассказать...



Ксаверова, вместе возмущённая и испуганная, отошла к дверям алькова.

– Оставьте меня в покое! – крикнула она. – Мы одни... как вы можете сюда вторгаться? Это в самом деле что-то странное...

– Ну! Странное! – сказал другой. – А! Странно или нет, говорить нужно, о чём спрашивают! Мы знаем, кто тут бывал, а, может, и есть... Не имел он времени ускользнуть. А, может, вы его где-нибудь здесь спрятали...

Ксаверова, молча, пожала плечами и отвернулась, как бы хотела выйти; глаза калмыка заблестели, который намеревался схватить её за руку и задержать, когда та с криком вбежала в альков, и обе женщины заперли за собой дверь... Был слышен только плач испуганного ребёнка.

## XVIII

Из первой комнаты доходил разговор двух незнакомцев, которые, казалось, спорят друг с другом.

– Ну, что же вы сделали, – воскликнул первый, – теперь будем дверь выбивать... я бы всё узнал добрым способом. Вы сразу по-вашему...

– Ты что меня, старик, учить думаешь?

Потом тише они договаривались; беспокойные и испуганные женщины стояли на пороге, не зная, чем всё кончится, когда первый проговорил снова громче:

– Ну, идите себе, идите, – скрипнула дверь и женщинам, заключающим из молчания, казалось, что оба должны были выйти. Хела, более смелая, выглянула.

На скамейке, напротив двери, сидел тот, который вошёл первым, казалось, ждал... второй действительно ушёл.

– Эй! Дамы! Триста... – сказал он, кашляя, – не бойтесь... чёрт, ничего с вами не будет... Мы только расспросить хотели, хорошим способом... уехал ли тот господин или нет. Мне бы для его собственного добра нужно встретиться с ним. Триста... для него дело смертельно опасное...

– Мы раз говорили вам, – прервала Хела, – ничего не знаем, никого не знаем, идите в усадьбу, куда хотите, и оставьте нас в покое...

– Ничего не знаете! – подхватил сидящий на скамейке, который тем временем достал фляжку из-за пазухи, выпил водки, из кармана вытащил лук и закусил, – ничего не знаете! А я знаю, что это ложь! Ходил он сюда каждый вечер, видели его люди, свидетель Абрамек... Сиживал до полуночи возле вашей милости... Старый бабник... неисправимый... Всё-таки я ему зла не желаю, но важное дело, до трёхсот... может, где укрывается, скажите это, ничего ему не будет...

Хела не ответила.

– Старшая ваша милость, – через мгновение отозвался сидящий на скамейке, расправляя полы опончи и доставая шёлковый кошелёк, в котором звенело несколько талеров, – вы должны быть более разумны... У вас тут, вижу, святая нагота... мог бы вам предложить пособие, если бы дали мне информацию и сэкономили время... заплачу, говорите...

На это оскорбительное предложение они ответили презрительным молчанием; старик, спрятав кошелёк, начал живо ходить по комнате и ругаться.

На столике лежал лист бумаги... В предпоследний вечер пан Тадеуш, который любил рисовать, набросал на нём несколько лиц: Ксаверовой, Юлки и себя... Голова последнего была очень похожа... Старик, прохаживаясь, заметил бумагу, взгляделся, усмехнулся и схватил её.

– На что мне лучшие доказательства! – воскликнул он. – Это его лицо! Ого! Теперь трудно будет отрицать, что он тут был.

В минуту, когда он ещё всматривался в рисунок, держал листок в руке, Хела, воспламенённая гневом, выбежала на середину и яростно его выхватила.

Она сделала это так живо, так смело, лицо её было таким страшным от гнева и повелевающим, что недруг мимовольно поддался впечатлению какого-то страха и отступил, теряя смелость, бормоча...

– Панна гневается, а не на что, – сказал он покорней, – в чём дело, я знаю, он был тут... а остальное, панинечка, это уже расспросить. Теперь мне уже не нужно больше... по ниточке, помаленьку смотаю в клубок, что мне нужно... если ещё здесь гостит, то я с ним увижусь... Потому что, – добавил он, – если он на чердаке, в подвале, под кроватью... то не выйдет теперь без моей ведомости. Что, панна, ты так на меня смотришь, как бы меня удивить хотела! Я твоих глаз не боюсь! Эй! Эй! До трёхсот... не через такое я проходил, а бабьего крика и угроз никогда не боялся...

Кланяюсь, кланяюсь, – сказал он, наклоняясь, – к ногам падаю, прошу прощения за навязчивость!

Говоря это и смеясь сам себе, он медленно вышел за дверь.

Хела стояла онемелая... из её глаз текли слёзы, схватила бумагу, сложила её и спрятала на груди.

## XIX

По ухода недруга наступило долгое, неприятное молчание, нужно было бедного испуганного ребёнка, плачущую Юлку, успокоить; они обе имели немногим больше отваги, чем она. Хела была в отчаянии, Ксаверова – в страхе, лишь бы не возвратились те люди и недопустили новых насилий... Можно было ожидать обысков в доме... а больной ребёнок и так уже достаточно страдал...

Ксаверова собиралась выйти и искать какой-нибудь опеки в усадьбе, когда знакомый голос советника, пана Туборского, в приказном тоне, с руганью начал требовать, чтобы открыли дверь.

Сироты были на его милости, поэтому о сопротивлении ему нечего было и думать; Хела поспешила отпереть и впустить нового – не гостя, но недруга.

Туборский обычно приходил в этом настроении, ища к женщинам самые разные претензии, чтобы им надоедать и докучать. Владелец Доброхова, милостивый пан, который заброшенную усадьбу определил им под жильё, этим распоряжением, учинённым без распоряжения могущественного советника, подверг бедных женщин его мести и недружелюбию. Туборский, единовластный пан в имениях, которыми управлял в отсутствие владельца, как хотел, сразу поначалу показал себя обиженным тем, что владелец, не спрашивая его, смел в своих имениях кого-либо поместить... Он подозревал Ксаверову, что она была прислана, чтобы за ним шпионить, а Хелю ещё хуже. Желая от них избавиться, он выделил им пустую жилую хату и во всякой помощи отказал.

На какое-то время он сменил было тактику и попробовал рекомендоваться к панне Хелене, подозревая её в милости у владельца, которого она совсем не знала, но, гордо отвергнутый ею, он ещё суровей начал обходиться с женщинами. Единственного опекуна, который немного их защищал и которого Туборский должен был уважать, хотя его не терпел, имели они в старом приходском священнике. Но это была слабая поддержка.

Советник со священником были в натянутых отношениях, друг друга взаимно избегали. Пан Туборский причинял неприятности, смотрел недоверчивым оком, и теперь, когда какие-то гости начали наплывать в дом священника, гневался на это, напрасно пытаясь узнать, кто это были, подозревая ксендза, что составлял заговор против него. Прибытие какого-то незнакомца,

который звался родственником и о котором у ближайших щёголей доведаться не мог, было ему теперь подозрительным.

Туборский выглядел на того, кем был, имел физиономию своего прошлого, эконома, типичную. Крупный, приземистый, румяный, средних лет, здоровый, сильный, решительного лица, привыкший к деспотичному обхождению с подчинёнными, даже, желая быть вежливым, был невыносимым.

Когда ему открыли, он влетел, не снимая шапки, в первую комнату.

– Чего вы тут закрываетесь? – воскликнул он, пыхтя. – Что это, я буду у вас под дверями ждать!

– Мы должны были закрыться, – ответила Ксаверова, – так как на нас тут с утра какие-то люди нападали...

– А всё-таки гостей любите! – издевательски прервал Туборский. – Принимаете. Этот родственник приходского ксендза всё же каждый вечер здесь бывал и сиживал до утра...

Старшая пожала плечами.

– Родственник ксендза! Гм? – воскликнул советник. – А чем вы хуже него? А знаете, – добавил он криливо, – что это был человек подозрительный, что его ищут и ловят? Не напрасно от русского отряда прислали отслеживать его здесь... А я за ксендза и за вас страдать должен, подвергать себя преследованиям следящих за ним. Почему же вы не поведали тем, что спрашивали, что о нём знаете! Думаете, что я за вас каяться буду и пушу это плашмя? Что я тут вам с вашими приятелями дальше пребывать позволю?

Не дождётесь! Пусть ксендз даст приют в других землях, а я, вынужденный охранять целостность имения, никому повода для нападения давать не думаю... Выгоню! Я за это отвечу, – кричал Туборский, распаляясь всё больше, – ну, отвечу... и марш со двора!.. Что россияне сделают с ксендзом, это меня не касается, как пива себе наварил, пусть пьёт... Я тут под моей юрисдикцией никакие заговоры, сговоры и съезды не позволю.

– Ведь никаких у нас не было, – ответила старшая, – всё-таки в приюте от дождя никому отказать нельзя... А что кто-то зашёл под нашу крышу, мы за это можем отвечать и быть наказанными?

– Ваша крыша! – вспыхнул советник. – Ваша крыша! Как вы сметете называть эту хату вашей?

– Пане советник, вы немилосердны...

– Мне разум необходим, не милосердие, – прервал Туборский, – что вы меня тут учить думаете... Как я сказал, так и случится, через три дня вашей ноги здесь не будет.

– Пожалуй, нас силой выставите! – воскликнула Ксаверова.

– Думаете, что испугаюсь? Бросьте, – воскликнул всё более громко разгневанный советник, – пусть ксендз, ваш приятель, даст вам приют. Этого уже достаточно... По вашей причине я страдать не думаю и подставлять себя русским...

– Рассуди же, ваша милость! По нашей причине? – ответила женщина.

– Ну да, по вашей... этот дьявол, кто его там знает, как его зовут, его Россия ищет, проводил тут себе сладкие вечерки! На земле под моей юрисдикцией! Пришли приказы из Варшавы, чтобы его арестовали... А знаете, чем это пахнет... Или должен грубо заплатить, или подожгут дворец, уничтожат деревни, поставят отряд, который меня съест. Или мне сейчас скажешь, кто это был, когда и куда выехал, где скрывается... или нет, тогда через три дня прочь со двора.

– Ничего мы вам не скажем, потому что ничего не знаем, – выступая вперёд, смело ответила Хела, глаза которой сверкали гневом, едва дающим себя сдерживать. – Прикажешь нас выгнать – тогда пойдём себе хотя бы пешком.

Туборский, рассевшись, издевательски смерил её с ног до головы.

– О! Ты любовника не выдашь... это я знаю, – сказал он, смеясь, – но я подозрительных женщин, что по ночам принимают, держать не думаю... Пойдёте за ним...

Вся облитая кровью от гнева Хела подступила на шаг к нему, брови её были нахмурены, лицо грозное, щёки побледнели, глаза метали молнии; поначалу она не имела сил сказать слово, подняла руку, вытянула и указала на дверь.

– Прежде чем нас выставишь, – крикнула она, – я имею ещё право сказать тебе, чтобы из этого дома, которым не тебе мы обязаны, шёл немедленно прочь! Слышишь? Прочь!

Туборский, испуганный такой смелостью, почти разъярённый, побледнел.

– Да! – крикнул он, поднимая руку. – Ну, это посмотрим, кто из нас выйдет отсюда позорней... и не через три дня, но прежде чем закончится день...

– Через час нас здесь не будет, – отвечала Хела. – Иди, милостивый государь, больше нам не о чем говорить.

Туборский стоял ещё, метал в них гневные взгляды, побежал к двери и вернулся, хотел что-то говорить, но обе женщины побежали к плачущей снова Юлке, и дверь алькова за собой закрыли...

Подёргав чуприну, советник ещё пару раз пробежал комнатку и бросился к двери.

– Мне приказывают идти отсюда прочь! Мне! Прочь! Видно, рассчитывают на чью-то протекцию, ну, это мы посмотрим... и я тут что-то значу... Что будет, то будет... Выгоню!

Никто ему не отвечал. Выбежал.

## XX

Женщины, возмущённые поведением советника, устрашённые его угрозами, через несколько часов потом очутились в местечке, где в бедной еврейской лачуге искали временного приюта.

Ксаверова плакала, приписывая это несчастье немного чрезмерной резкости Хелены, но признавала сама, что без окончательного унижения остаться в Доброхове не могли. Честный старый пробоц, ксендз Грушка, прибежал им в помощь, узнав о случившемся, и поручился хозяину за бедных изгнанниц, потому что несчастных, выгнанных советником, никто принять не хотел. Одинаково боялись их бедности и мести пана Туборского.

Это произошло так быстро, что советник, занятый приёмом отряда россиян, который был прислан в Доброхов, ища какого-то опасного человека, прежде чем имел время надумать, что предпринять дальше, доведёлся уже через сторожа, что пани Ксаверова выбралась в местечко. Это ему было не по вкусу, хотя он сам выдал приказ, поспешность ему не понравилась.

После первого гнева пришли разные соображения, а жена заклинала, чтобы до крайности не доводил.

– Всё-таки видишь, – говорила она, – что делается в стране, имеешь уши, а не слышишь! Однако же, видимо, что-то готовится против россиян... ты только их боишься, а свои тебя повесить готовы... Россияне тебя, наверное, не охраняют. Эти женщины имели связи с людьми, которые делают что-то тайное... за них тебе мстить будут... Напросишься! Безумец! На грош разума не имеешь! И так уже собак на тебя вешают, а дальше тебя как пса повесят!

Пан Туборский выслушал эти филиппики жены, пригрозил ей, прикрикнул, но принял замечание к сердцу. Хотя прыткий и гневный, был он из разряда тех людей, что с более слабыми обходятся дерзко, но, почуяв наименьшую опасность, трусят... Он всего боялся... испугался, поэтому и последствий своей несдержанности... Но уже было в пору...

Узнав о таком шибком отступлении женщин, он почувствовал себя весьма обеспокоенным, рад был исправить зло – не знал, как за это взяться, потому что снова из авторитета должности оставить не хотел, он думал, что ему покорятся, что его будут просить, что великодушно простят... между тем ушли... это наталкивало его на мысль доказывать независимость и силу. Туборский был задумчивым и хмурым, хотя старался показаться уверенным в себе. Замечание жены и страх имели тот хороший результат, что, опасаясь больше подвергнуться опасности

со стороны таинственных конспираторов, русским вовсе не думал помогать в выслеживании прибывания в доме священника этого подозрительного господина, заплатил капитану, напоил солдата и отправил ни с чем в экипаже.

Петлю, о которой ему напомнила жена, он чувствовал, как холодный обруч, опоясывающий его шею.

Он также был бы рад отозвать слишком поспешный приказ Ксаверовой, если бы она меньше об этом старалась – его жена пошла даже в ту келью в городок шепнуть пару слов ксендзу... но Ксаверова поблагодарила... Выбираясь и так позже в Варшаву, она предпочитала, раз уж выставлена, очутиться там как можно скорее, уповая на Божье Провидение. Больной ребёнок, по крайней мере, найдёт там заботливую врачебную помощь.

Так тогда всё сложилось для неудобного осеннего путешествия. Ксендз как бы пособие, не от себя, но от своего кровного, пана Сехновицкого, принёс двадцать дукатов и вынудил их принять... Необходимые вещи купили евреи и горожане... На третий день наняли еврейскую бричку, упаковали остатки убогого имущества, и бедные женщины, попросившись с ксендзом Грушкой и несколькими им сочувствующими особами, в слякоть и ветер потянулись к столице.

Немного беспокойный, поглядел на это Туборский, но не мог уже ничего поделаться; предупредил только письмом владельца, что произошло это помимо его воли... из-за каприза и фантазии...

## XXI

В крайней нужде, как в неизлечимой болезни, в человеке рождается странное чувство – он начинает рассчитывать не на возможные события, но на чудеса и невероятности.

В счастье каждая неожиданная вещь – ужасна, в плохой доле хочется чего-то дивного, каких-нибудь неожиданных случайностей, потому что ухудшить ситуацию уже не могут, а к лучшему легко смогли бы изменить!

Грошѐм, выдернутым из лохмотьев нищих, держаться лотереи, шелунгом бедных богатеют игорные дома, так же, как практикой неизлечимых и отчаявшихся прославляются шарлатаны... В обществе, нормально развивающемся, никто не рассчитывает на случайность... в расстройстве и катастрофе жизнь часто цепляется за самые слабые нити – является неустанным маятником над пропастью.

В таком именно состоянии духа были эти женщины по прибытии в Варшаву. Запасы их на протяжении более долгого, нежели они ожидали, путешествия, стали значительно щуплыми; сил и отваги много пожрала эта мучающая волокита. Когда они оказались у желанной цели путешествия, они должны были как можно быстрее искать помощи, занятия... обеспечения этого грозного завтра, которое стояло у дверей.

У Ксаверовой ещё с прошлых времѐн был знакомый и расположенный к ней владелец дома на Белянской улице. Непосредственно к нему она и направилась сразу после приезда, прося его о приюте, дабы могла в нём ожидать какого-то улучшения быта. В долгих разговорах с Хелей во время путешествия она вняла тому убеждению, что весна принесёт с собой... того незнакомого друга и покой, и достаток.

Достойный дворянин города Варшавы, человек добродушный, но уже округляющийся и немного лысый, был очень расположен к пани Ксаверовой в память о муже, с которым играл в шашки, был, однако, владельцем дома, отцом семьи и научился жить завтрашним днѐм. Сердце, быть может, от излишней тучности уменьшилось... Однако же совсем отказывать не хотел и снова слишком жертвовать собой, и предложил пару комнаток в тыльной стороне на третьем этаже, которые, за малыми исключениями, почти напоминали хату в Доброхове.

Был это приют обездоленных судьбой, который был в течении трёх лет не занят, потому что самые бедные съёмщики боялись сумрака, какой царил в нём, и испарений двора, которыми приходилось дышать.

А так как бедный должен работать, – тут же в полдень приходилось зажигать свечу – ни один ремесленник не мог снять помещение. Эти ужасные, затхлые, холодные, влажные комнаты имели только то удобство, что за них вперёд платить было ничего не нужно, а дом наполнил бедной вдове лучшие времена, единственные наиболее светлые моменты, когда, весёлая, из окна второго этажа высматривала мужа, который, возвращаясь из канцелярии, приветствовал её улыбкой издалика.

Хела ехала в Варшаву, рассчитывая в духе на своего пана Тадеуша, хотя хорошо знала, что раньше весны прибыть не обещал... но её сердце заблуждалось... ей казалось, что он от кого-нибудь узнает, что они там... и поспешит. В конце концов хотя бы также удалось дожить, дотерпеть до весны.

Ксаверова и она попеременно бегали, ища бывших знакомых, работы, какого-нибудь занятия, Хела предлагала даже принять службу... Но давних знакомых бедным всегда трудно отыскать, работа не приходит легко. Служба недоступна, когда нет ничего за собой... кроме всегда подозрительного убожества. Владелец Доброхова, к которому они хотели направиться, находился несколько месяцев за границей.

С великим мужеством, со смирением, с самоотверженностью обе пытались смотреть глаза в глаза своей грустной судьбе, но как обычно, вместо того чтобы с ней справиться, с каждым шагом находили новые препятствия и неожиданные трудности.

Маленькая Юлка, это любимое дитя, так преждевременно созревшее, любимица матери и надежда, дорогая сестричка Хели, которая к ней страстно привязалась, платя ей горячо за чувства, больная уже в Доброхове, измученная неудобной дорогой, прибыв в Варшаву, опасно поникла. Позвали врача, который признал слабость за довольно угрожающую, хотя неопределённую, прописал лекарства, осторожность, удобства, не в состоянии понять то, какими они были трудными для выполнения бедным людям.

Самоотверженность матери и приёмной сестры, увеличенные ещё угрозой опасности, засияло во всём блеске. Обе, не говоря о том друг другу, молча согласились на хлеб и воду, на самые большие жертвы, лишь бы спасти этого ребёнка, лишь бы ему дать то всё, чего требовало его состояние. Менялись днями и ночами у её кровати, распродавали тайно все остатки бедного имущества и одежды, только бы обеспечить Юлку лекарствами, здоровой едой, игрушками. И это входило в прописанные лекарства.

Было это зрелище захватывающим, но недоступным для человеческих глаз. Смотрел на него только тот, что всё видит... Трущаяся о них горстка людей не могла ничего заметить. Ксаверова даже не знала о всей обширности жертв Хели, которая те медальоны в золотой оправе Свободы просто велела покрыть бляшками, чтобы ценой рамок оплатить лекарство Юлки... Хела не догадалась также, почему золотое колечко, последняя памятка по мужу, исчезло с пальца вдовы; было заложено у еврея...

Тихо, молча бдили у кровати, в которой чёрные, воспалённые горячкой глаза Юлки светили им надеждой, а побледневшие запёкшиеся уста ещё улыбались.

Несмотря на внешнюю весёлость ребёнка, мать имела какое-то страшное предчувствие, её отчаяние было молчаливым, отвердевшим, каменным... Беспокойство Хели рвалось и бунтовало против натиска судьбы... Искала в голове средства, металась, плакала, но самые прекрасные помыслы, когда пришла реальная година, все обманули ею. А печаль нужно было скрывать в себе, чтобы ею материнскую боль не увеличивать.

## XXII

У Ксаверовой была (как мы говорили) в Варшаве сводная сестра, на десять с небольшим лет младше неё, с которой очень давно порвала всякие связи – не без причины.

Рождённая от того же отца, но от матери-иностранки, дочери итальянца, королевского кондитера Ресанти, наполовину итальянца, наполовину поляка, Бетина была воспитана совершенно иначе, чем сестра... Они знали друг с другом мало, потом не виделись вовсе. Любимица деда, который провёл век в замке, а потом в кондитерской, основанной под Краковскими воротами, необыкновенно красивая, живая, остроумная, избалованная, Берта, едва дойдя до пятнадцати лет, уже была известна в Варшаве. Предсказывали ей разные судьбы, легко было отгадать, что безнаказанной не выйдет из этого ада, каким было тогдашнее общество. Произошло, как предсказывали: она пала жертвой богатого панича, который её выкрал, увёз, потом осел в Варшаве, хвальнось добычей, а через пару лет бросил.

Этот первый шаг в жизни естественно был решающим для всего её будущего. Дед, может, простил бы внучке, но умер от огорчения как раз в то время, смерть отца наступила ещё раньше, так что Бетина осталась одна на Божьем свете, молодая, красивая, непостоянная, испорченная двухлетней избыточной и распутной жизнью с человеком, который среди своих считался самым оригинальным распоясанным безумцем. С такой славой было тогда нелегко.

Были у неё с того времени самые различные связи, самые прекрасные знакомства, потому что воеводич принимал мужское общество вечерами у Бетины. В её доме были первые иллюстрации из эпохи на этих роскошных ужинах, мода на которые пришла из Франции.

Бетина уже в то время нравилась многим, гонялись за ней, получала пламенные письма, самые волнующие признания, самые лживые обещания.

Кокетливая, пустая, развлекалась, не очень отгоняя влюблённых. Но искренне по-своему была привязана к легкомысленному человеку, которого полюбила первой... хотя он видел в ней только красивую и дорогую игрушку. Бетина осталась верной ему до конца. Она заблуждалась, что эта её привязанность изменить его, исправить, смягчить сможет... но разврат не имеет сердца. Её настоящая любовь разбилась о своеволие, о непостоянство холодного человека, не верящего в женщину, наигравшегося с чувством, которого уже тяготили эти узы, потому что их хотел и намеревался как можно скорее порвать. Ему не хватало предлога, но наконец, одного утомления и каприза было достаточно.

Оставленная вдруг Бетина убедилась, что была недостойно, холодно соблазнённой, а любовь, в которую верила, была только мешаниной страсти и пустоты... минута отчаяния сожгла в ней остатки юношеских честных чувств и веры в общество.

От этого отчаяния она с горячностью, с иронией бросилась в самую распущенную жизнь... чтобы доказать этому человеку, что и она его не любила, что слезы не уронит по нём. Сама с собой она горько плакала, но среди людей выдавала себя страстной, скептической, легкомысленной вакханкой.

Это обычный приём у женщин, подобных не только Бетине, но гораздо выше, чем она, духом, воспитанием и состоянием. Сердечные катастрофы кончаются монастырём либо непостоянством... Когда женщина перестаёт верить в сердце, в привязанность человека, ищет утешение в безумиях, упоении... и есть навеки погибшей... Её покидает стыд, гаснет чувство, остаётся голод, который заполняется тем, что никогда насытить не может... безумием... А когда безумие не удовлетворяет... когда чёрной пеленой покрывается жизнь без надежды и без завтра – тогда родится насмешливое равнодушие и холод, который говорит тебе:

– Всё... разочаровывает! Мы бросаемся человеком, как игрушкой... он большего не заслуживает.

Брошенная Бетина так и осталась в своём прекрасном апартаменте на Краковском со всей роскошью, которая её окружала... Открыла салон... засиявшая юмором, элегантностью, иронией, она пыталась притянуть к себе молодёжь – она бросилась на волну наибурливейшей экзистенции – но сразу на пороге этой новой жизни без надежды, без завтра, она заметила великую перемену в людях... любовница воеводича была популярной, почти уважаемой – брошенная им, свободная, она потеряла значительную часть того очарования, которое её окружало...

Она опустилась на ступень ниже; вчера была ещё *Mademoiselle Betina*, завтра... *la Betina*. С довольно правильным инстинктом и быстрым умом она быстро поняла, что нужно было согласиться с этим положением либо добыть более великолепное. Она загорелась гневом, почти яростью, но прекрасное её сияющее лицо не показало по себе того, что кровью проникло в грудь... Посмотрела в зеркало, убедилась, что на лице цветущая молодость, поклялась в возмездии и только улыбнулась. Жизнь подхватила её и унесла...

Клятва была вскоре забыта, но, как горячая печать, осталось после неё невидимое пятно, которое отбивалось везде и всегда, в её привязанности, в ненависти, в приязни и равнодушии. Уже никого любить она не могла и каждый ей казался неприятелем; обходилась с людьми, чувствуя в них только заядлых врагов, против которых было хорошо любое оружие. С этим холодом и превратностью, которые ей давали уверенное превосходство, Бетина сумела создать себе отдельное положение в тогдашнем закулисном варшавском обществе.

Все мемуары этой эпохи, все путешественники, которые в последние годы XVIII века посещали Варшаву, упоминают, как о характерной черте, об этой испорченности и о той толпе двузначных женщин, невидимых правительству, скрытых где-то в глубинах города, имени которых никто в обществе не вспоминал, в знакомстве с ними не признавался – а однако в их изысканных салонах самое избранное общество этого времени проводило значительную часть жизни.

Этот лифляндец (Шульц), который оставил после себя такое, к несчастью, живое изображение Варшавы последнего десятилетия, распространяется над этим классом женщин, чьих обычай и мода навязывали даже людям серьёзным, старикам без страсти и сердца, осуждённым на рисованных любовниц.

Значительная часть Краковского предместья была занята этими дамами, лица и имена которых знала вся столица, приятели говорили потихоньку друг другу, а побочные интриги в усадьбе подавали как игру. Разнообразие было великое... начиная от тех, что отлично выходили замуж, потом даже до тех, что, покрытые пудрой и мушками, увядая, падали аж в уличную грязь... Тогдашняя элита старалась о самых красивых конях и самых ладных личиках, а так как князь Ёзеф задавал тон молодёжи, молодые Тепперы должны были купить таранты и привозить масочек хотя бы из Парижа... Банкирская аристократия не хотела уступать шляхетской... морально и материально разрушались на гонках – кто первый... А когда кто-нибудь опрокинул коляску в пропасть, стоящие на её краю смеялись до упада...

### XXIII

Бетина имела тогда все условия, которые позволяли ей добиваться высшего положения – молодость, свежесть, необычная красота, характерная, итальянская, напоминающая жительниц центральной части Италии, прекрасное образование, красивый голос, музыкальный вкус, остроумие и смелость избалованного ребёнка.

С самой первой молодости освоенная с двором, с панами, с королевским окружением, заранее наслушалась того, что любой из этих персонажей, очаровательных для толпы, мог притянуть красоту. Она не удивлялась ничему, смеялась над всеми... Знала их изъяны даже чересчур хорошо, для неё это были слишком простые смертные... Предательство и горечь, которые они влили в её сердце, ещё увеличили презрение к людям. Два года живя с воево-



дичем, из-за него она таинственно попала в скандальную хронику Варшавы... поэтому также женщины большого света казались ей не лучше её и она чувствовала себя им равной – язык имела немилосердный, как сердце. Этот скептицизм, неверие, презрение при красоте молодости, свежести, очаровании... для людей испорченных были новыми чарами, давали ей возбуждающую оригинальность. Её боялись, а она притягивала к себе... хлестая иронией, подстрекала... Её остроумные слова либо придуманные на её счёт остроумия обегали Варшаву и через наивысшее общество подавались к уху. Ибо часто громко их даже в это время толерантности повторить было трудно.

Через несколько месяцев после предательства воеводича ловкая женщина не только что возвратила свое бывшее значение, но стала созданием модным, взыскательным, за которым теснились толпы, милости которого добивались старшие и младшие, нося горсти, полные золота, карманы, напиханные драгоценностями... все дары запада и востока... Из-за её каприза посылали эстафеты за парфюмом в Париж и за сухим вареньем в Италию.

Она пробудила такой интерес, что, слыша о ней, самые известные тогдашние красотки станиславовского двора, наряженные, теснились, чтобы увидеть её вблизи, говорить с нею и вынести из её уст одно из тех острых словечек, которые оставляли после себя незаживаемую рану. Словом, была это Нинон в своём роде.

Ловкое создание, однако же, знало, что популярность не бессмертна, молодость не вечна, мода непостоянна, а старость бывает грустной.

Поэтому заранее она решила справиться с этим; под прекрасными предложениями она стала скупой и жадной... копила деньги с какой-то странной заядлостью. Оставшиеся остатки отцовского наследства она сумела вырвать процессом из рук каких-то спекулянтов. Драгоценности превращала в деньги... торговала платьями... ограничила свои потребности...

Другой её мономанией стало замужество, которое дало бы имя, очистило прошлое и обеспечило будущее...

Оно не было лёгким, но Бетина с собственным ей цинизмом довела его до результата. История этого замужества осталась до сегодняшнего дня в тех станиславовских традициях, которые хорошо рисуют ту распоясанную эпоху и столицу, целым веком разврата отделённую от достойной страны, от тихой и старой польском деревни.

В определённые времена, вызывающие в столицу многочисленные отряды деревенской шляхты, наплывала она в Варшаву с неопытностью, наивностью, доброй верой, которые её иногда подвергали дивным разочарованиям. Житель деревни не понимал и понять не мог ни этого общества, ни его иерархию, ни личностей, которые ему тут навязывались. Придворные жестоко обманывали несчастных. Вводили их не раз в дома вовсе не уважаемые и представляли особам, играющим для них роль женщин большого света. Не один поддался на это и сильно поплатился своим добродушием, но никто более жестоко не был пойман, чем старостич Одригальский, который, как жив, первый раз прибыв из деревни в столицу, попал в руки самой распоясанной молодёжи. Неопытный, легковёрный, очень богатый, так как сразу после умершего отца наследовал значительное состояние, старостич с первого взгляда влюбился в Бетину. Ввели его в её дом, предупреждая, что это была вдова очень уважаемая и богатая. Одригальский, быстро втянутый в сети ловкой женщиной, осведомился о её руке; боясь семьи, огласки, неожиданных препятствий, напоили его однажды вечером и быстро заключили брак...

Вскоре, однако, вся страшная правда вышла наружу, молодой человек охладел, развернулся скандальный процесс. Впрочем, Бетина так ловко всё составила, брак, сложенный таким образом, казался законным, а протекции её были так сильны, что несчастный муж должен был грубо искупить развод... а Бетине оставил свою фамилию и воспоминания, что была с кем-то в браке...

Одригальский позднее умер в деревне, бывшая жена носила по нём траур и вспоминала с чувством как о покойном муже...

Этот эпизод её жизни, очень громкий сначала, объясняемый по-разному, был эпохой, с которой она немного сменила своё поведение. Она стала более серьёзной и вошла в категорию тех дам, которые, не будучи уважаемыми, сами себя немного уважали.

Только поверхностно, однако, пани Одригальская облекла себя некоторой важностью; закулисные интриги продолжались, как и раньше, а лёгкое обогащение сделало её только жадной. Никто не мог хорошо знать, что имела, шептали, однако же, что у Теппера положила несколько десятков тысяч золотых червонцев...

Предвидела старость не напрасно! Молодость и очарование в лихорадочной жизни проходят очень быстро, а хотя бы сердце было остывшим, хотя бы душа была усыпленной, утомляет сама ирония жизни. Есть часы страха, предчувствия чёрного будущего. Этими моментами раскаяния стареет вдруг безумие... дряхлеют безумцы.

Одна ночь страшных снов побелила волосы, одно утро слёз проложило морщинки под глазами...

Уже во время пребывания Ксаверовой в Варшаве, Бетина заметно начала вянуть и стареть; располнела, утратила свежесть, а хотя обаяние своё искусно умела прятать и восполнять, не была той красивой итальянкой, что очаровывала одним взглядом. Её поддерживали бывшая слава и большое остроумие...

Кучка приятелей и возлюбленных ещё её окружала... однако со страхом она замечала, что бурных страстей, как раньше, уже не пробуждала; шли к ней по привычки люди на вечера, от безделья и интереса. Общество теперь немного сменилось; новые отношения сблизили её особенно с наводнившими Варшаву всё обильней иностранными дипломатами и военными. Для этих людей она была заманчивой новостью... имела великое сходство с дамами двора их родины... то же самое формирование, тот же цинизм... и гораздо большая лёгкость в обхождении и больше остроумия. Эти любили Бетину. Она получила новую славу и популярность среди молодёжи и старших членов всесильного посольства так, что вошло в моду бывать у неё на вечерах, на игре... и немного любить...

Бетина никогда не имела понятия ни о каких обязанностях в отношении страны, ни привязанности к ней. Люди, с которыми она провела жизнь, принадлежали именно к той группе продажных, опьянённых вечным безумием глупого веселья, не понимающих, что родине можно что-то пожертвовать. Они из её внутренностей привыкли тянуть доходы. На деньги иностранного посольства элита устраивала оргии, а патриотизм называли попросту варварством и глупостью.

Дом Бетины служил нейтральным грунтом, на котором встречались те, что думали купить и что хотели продать себя. Сходились на совещания, придумывали измены и продажность, приносили новости... отправляли агентов, словом, была это тайная ячейка посольства... Хозяйка находила очень естественным служить своим хорошим приятелям, которые также ей за это обильно отвечали взаимностью.

## XXIV

Пани Ксаверова не знала и части тех грустных деяний женщины, которая давно перестала называться сестрой; пани Одригальская тоже была слишком гордой, разгневанной и, наконец, занятой, чтобы искать бедных родственников и напрашиваться на отношения с ними. Много лет уж не знали они друг о друге.

Однако же отдавалось болью в Бетине, что самая близкая её родственница отдалилась от неё, не признавалась в этом, но чувствовала себя оскорблённой. От картины в таком сердце до жажды мести недалеко.

Оказавшись теперь в самом неприятном положении, без помощи и друзей, Ксаверова даже не подумала о сближении с сестрой, имя которой вспоминала со страхом...

Она понаслышке знала, что та вышла замуж, что овдовела и что её знали теперь под узурпированным именем старостины Одригальской. Этот титул, взятый в насмешку, притёрся и остался за ней признанным... Только старшие знакомые именовали её, как раньше, Бетина.

По странной случайности старостина, которая долгое время занимала квартиру в Краковском предместье, по совету своих приятелей из посольства перенеслась на Белянскую улицу, где не так уж была на виду. Жила теперь на первом этаже дома, второй этаж которого некогда занимала Ксаверова, а теперь приютилась в тёмном его углу. С большим удивлением, в воротах, издалека, сёстры встретились; Ксаверова узнала старостину, Одригальская вспомнила её, посмотрели издалека друг на друга и вдова как можно быстрее ушла с глаз Бетины. На Ксаверову это случайное столкновение с богато одетой пани сестрой произвело сверх всяких слов болезненное впечатление; она тихо плакала, ничего об этом не говоря Хелене и, разгневанная, решила избегать даже кратковременного сближения с ней. Рада была уйти из этого дома, из-под этой крыши – так боялась испорченной женщины; ей приходило на мысль, что красота Хелены может обратить глаза старостины, что эта близость в минуты отчаяния её самое подвергнет искушению вытянуть руки к сестре – а в душе чувствовала к ней отвращение и презрение, хотя и части не знала, насколько она их заслуживала.

Но уйти было невозможно, не в состоянии ни заплатить задолженности, ни нанять нового жилища.

Хела видела её слёзы и беспокойство, но не догадывалась о причинах, состояние здоровья Юлки даже слишком их объясняло... Ксаверова даже говорить о том не желала.

Это молчание было причиной, что Хела, которая неустанно искала занятия и найти его не могла, таясь пред Ксаверовой, напала на мысль пойти с какой-нибудь вышивкой к богатой старостине, живущей на первом этаже... Знали её в доме как модницу, Хела пару раз встречала её красиво одетую в воротах, хотела попробовать, не сумеет ли продать эти выплаканные вышивки.

Старостина уже знала Хелю, красота которой поразила её, спрашивала и доведалься, что это дочка Ксаверовой. Так её обычно звали, а разорванные давно отношения обеих сестёр не позволяли знать о родне... Бетина полагала, что она её племянница.

Однажды утром Хела вошла, дрожащая, робкая, в бедном своём наряде в прихожую старостины... Её впустили к пани...

## XXV

Бетина ещё стояла перед большим зеркалом, заканчивая утренний туалет и присматриваясь к лицу, бывшая красота которого изменялась каждый день, расплываясь во всё менее правильные формы, когда зеркало показало ей стоящую сзади у порога... племянницу... Она сразу её узнала... неописуемое чувство удовлетворения зарумянило ей лицо... она медленно обернулась, присматриваясь к девушке, чтобы отгадать, знает ли она, к кому пришла, есть ли это шагом унижения или случайностью.

Но в спокойном, ясном, хотя немного несмелом лице Хели, чрезвычайная красота которого её сейчас поразила, она не нашла и следа ни чрезмерной покорности, ни замешательства. Молодая девушка, вовсе не напоминая, кем была, отозвалась несколькими скромными словами, показывая свою работу и прося о какой-нибудь занятии.

Бетина также сделала вид, что её вовсе не знает и ни о чём не догадалась, поняв, что мать Ксаверова, конечно, о ней дочери ничего говорить не могла... поэтому отвернулась от неё, как от чужой.

Она поглядела на работу, начала расспрашивать Хелю о занятии, жилье, положении, а из ответа ещё сильнее убедилась, что девушке она полностью незнакома. Случайность... фатальность или справедливость бросила её в руки лёгкой мести... Усмехнулась в духе... Хела была

довольно искренна, не говоря имени, старалась её разжалобить картиной бедности, которая её к этому шагу вынуждала. Добавила, что делает это без ведомости матери.

– Если бы вы были так милостивы потребовать от меня работу, – закончила она, – я бы просила, чтобы за мной не посылать к матери... не хочу, чтобы знала, что так навязываться я должна. Мы, наверное, только временно, очень бедные, у нас есть больной ребёнок, сестричка моя... нам трудно обеспечить её нужды. Я хотела бы помочь матери.

– У вас и сестра? – спросила Бетина.

– Да, пани, милый, любимый, красивый, двенадцатилетний ребёнок. Я бы за неё жизнь отдала... а мать её так любит!

Старостина в процессе разговора внимательно всматривалась в Хелу, признала правильным показать себя вежливой, доступной, милой, купила шитьё, заказала ещё, дала несколько дукатов, пробовала пробудить в себе сострадание, что ей, впрочем, с лёгкостью удалось. Привыкшая очаровывать людей, она легко подкупила неопытную девушку, которой неожиданно пришла в помощь.

Для неё она представляла в эти минуты Провидение.

Обрадованная Хела не почувствовала даже фальши в словах, в голосе, в улыбке, в фигуре чего-то неестественного, натянутого, чтобы её, может, как-нибудь поразило... Ослеплённая работой, она была доверчивой и восхищённой всем. Старостина казалась ей наимилейшей и наидостойнейшей особой.

В нечестивом сердце Бетины дивное чувство мести – желание отплатить сестре её презрение – родилось и росло стремительно... Она заранее смеялась над тем, что могла ей причинить.

Эта добродетель в лохмотьях, избегающая её всю жизнь с тихим презрением, наполняла её гневом, но приходила минута, в которую наконец могла отплатить сполна злодейке (как её называла) сестре...

Хела была чудесно красивой, бедной и несчастной, втянуть её было так легко – навязать ей возможность падения, выставить на соблазн... так ей казалось справедливым и естественным...

– Считаешь себя лучше, чем я! – говорила она в духе. – Рано или поздно это её всегда встретит.

Все падшие существа рады бы потянуть за собой тех, которых застали на краю, их добродетель тех осуждает... хотели бы мир запятнать, чтобы менее грязными казались среди него. Есть это в природе греха и дьявола.

## XXVI

Когда дверь закрылась за Хелей, которая в увлечении честной радости промелькнула как можно быстрее, не желая быть замеченной, к кровати Юлуси, старостина упала на стул, хлопая в ладоши и смеясь сама себе... Глаза её светились диким огнём... в сердце росла подавленная ненависть к сестре... Заранее составляла планы, как бы могла притянуть Хелу и ввести её в своё общество, из объятий которого выйти безнаказанно было невозможно; заранее представляла себе Ксаверову плачущую, отчаявшуюся, а ей с гордостью отвечающую на упрёки:

– Чем же я виновна! Ты презирала меня, и твой ребёнок не лучше...

Она поняла очень хорошо то, что должна была следовать с чрезвычайной осторожностью, чтобы эту робкую пташку не напугать... а скорее, чтобы её осмелить, приручить, пробудить доверие, сплочённость с собой. В нужде и покинутости, как же это легко! Когда кто-то с улыбкой сочувствия приходит...

Старостина, как все недостойные, рассчитывала больше на любовь Хели к сестре и матери, на слабость измученного существа, на молодость и неопытность... Её также очень удо-

влетворяло, что красивой молодой приятельницей она осветит салон... и посадит её в нём, как приманку. Дело было только в том, чтобы всё в тишине и тайне от Ксаверовой могло произойти.

Но мы бросим занавес на эти чудовищные мечты... которые – увы – так скоро должны были смениться действительностью. Расчёт на слабость человека редко не удаётся...

## XXVII

Медленно прошла зима, тяжелей, нежели бы оставленные, несчастные женщины могли себе желать, ожидая с этой ленивой весной прибытие своего опекуна и спасителя...

Между тем отношения Хели со старостиной, всегда для пани Ксаверовой будущие тайной, по-прежнему продолжались, и с каждым днём становились всё доверительней.

Бедная девушка вовсе не предчувствовала, в какую опасную ловушку попала, так как ловкая Бетина отлично умела перед ней играть роль вдовы и придать себе серьёзный характер.

Только приблизив Хелю, придав ей смелости, начала иногда выходить из этой роли, принимать более весёлую мину в шутках, пробовать сарказм, иронию, презрение людей, высмеивание их чувствительности, сердца и т. п. Она, однако, заметила, что эта струна не находила отзвука в молодой душе, что наполняла её скорее тревогой, чем интересом, какой ожидала встретить...

Поэтому она поступала с осторожностью волка, и, как те бывшие кающиеся, что пройдя два шага вперёд, шаг назад потом отступали, после иронии возвращалась к суровой серьёзности, хорошо рассчитывая, что слово никогда не умирает, что каждое оказывает впечатление, оставляет после себя клеймо, шрам на молодой душе. Даже то, что раны, болезненные поначалу, когда заживают... навеки оставляют шрам.

Когда только Хела могла к ней прийти, она приглашала её под видом одиночества с работой к себе; делала для неё видимость великой симпатии, приязни, кормила её повестями, специально составленными так, чтобы могли её освоить с отвратительным распутством света.

Воспитанная совсем в иных понятиях, по той причине, что пани Ксаверова была строгой и в свете видела только добродетель, как правило, а грех, как несчастье, Хела сразу поначалу почувствовала какой-то страх к этой женщине, которая с таким равнодушием говорила о событиях, казущимися ей страшными преступлениями... но она должна была молчать, скрыть своё отвращение и тревогу, потому что пани старостина помогала ей много, обеспечивала работой, обеспечивала деньгами и удерживала в зависимости.

Сойти в глубину мысли и совести этой легкомысленной и мстительной женщины, утомлённой жизнью и жаждущей интриги, рассчитать, что её потянуло к Хели: желая ли возмездия сестре, или из-за какой-нибудь злобной фантазии – есть задачей чрезвычайно трудной. Там, несомненно, мешались все эти причины разом, а сама себе хорошо не давала в них отчёта. Когда вдова сидела, прикованная к ложу больной доченьки, Хела должна была, удовлетворяя требования неустанной старостины, сбегать к ней под разными предлогами и просиживать, упорно задерживаемая, обсыпая ласками и лестью.

Пани Ксаверова чувствовала, что была обязана какой-то таинственной помощи хоть небольшим облегчением в своей судьбе; она спрашивала о том Хелю, но та отделялась от неё банальностями, что нашла работу легко, и просила, чтобы о том не беспокоилась.

Обнимались потом со слезами, а бедная вдова не смела выпытывать больше, но слов не имела для выражения своей благодарности Хели.

Грустное лицо Хели, её задумчивость и беспокойство постепенно уступили под влиянием этой таинственной связи немного более весёлому расположению, надежде... Её красота расцветала во всём блеске и, хотя её не повышала ни изящная одежда, ни самое небольшое кокетство, была всё-таки поражающей – потому что была не той обычной красотой молодых лет, но как бы знамением красивой души.

Она имела в себе что-то такое благородное, почти гордое и одновременно выдающееся, что неоднократно чужие люди на улице уступали дорогу перед её муслиновым платтицем с уважением, словно перед самыми прекрасными бархатами. Такой блеск невинной молодости, это девичье величие и спокойствие души, рисующиеся на этом облике, особенно пробуждали ревность в Бетине... которая при ней чувствовала себя обыкновенным и низшим существом.

– Такой бы я быть могла! – говорила она иногда. – Такой была... а теперь... Но это та несчастная старость... А! И то жизнь, – добавляла она в духе.

## XXVIII

К наилучшим друзьям пани старостиной Одригальской принадлежал уже с прошлого года живущий в Варшаве молодой русский генерал Дмитрий Васильевич Пузонов. Был он прислан в помощь Игельстрему по собственному его запросу, из Петербурга, с коллегией иностранных дел – его дальний родственник, он действительно выпросил себе у него это перенесение в иностранную столицу, имея надежду и на большую свободу, и на быстрый аванс, к которому кузен легко мог под разными видами его представить. Это был также услужливый приятель посла, его поверенный, правая рука, помощник, на котором была тайная полиция посольства, хотя явно исполнял только функцию адъютанта и, казалось, занимался армией.

Дмитрий Васильевич принадлежал к старой боярской семье, через разную дворянскую службу во времена императрицы Елизаветы и бироновищины, через брак и подарки, происходящие от конфискации, за последние лета обогатился. Всё это наследство складывалась из имущества, отобранного у тех, которых ссылали в Сибирь, чтобы не препятствовали; это не мешало Пузоновым использовать его без угрызания совести. Понятия о собственности имели они в целом отличное от европейских.

Пузонов имел приличную внешность, высокий рост, широкие плечи, приятное лицо, хотя немного тигрино-кошачье, без особого выражения, обхождение с независимыми чрезвычайно вежливое, но с подчинёнными дикое, гордое и варварское.

Сердца в нём не было – настолько его ранняя испорченность усыпила и превратила в камень.

Образование он получил такое, какое сегодня ещё дают в его стране панычам, предназначенным на высшие должности в войске, в дипломатии, у двора. Сначала сделали из него солдата, чтобы всю жизнь осталось в нём что-то солдатское; потом сверху облепили это французской и отгладили блеском якобы европейским. Матери было очень важно, чтобы он хорошо щебетал по-французски и чтобы в нём котик ловкость развивал.

С науками его ознакомили только поверхностно, понемногу, насколько требовала необходимость; военная служба потребовала немного математики, салон – немного литературы, дипломатия – немного истории, дали ему их, измеряя дозу необходимостью. Вообще в России тех времён довольствовались очень малым.

Этих молодых людей слишком не обременяли; дело было главным образом в том, чтобы могли выжить в свете... для этого было достаточно французщины и некоторой поверхностной полировки.

Все были того мнения, что Дмитрий Васильевич пошёл счастливо... Действительно, мальчик был умный, половину того, чего знал, угадал, а удивительным инстинктом, чего не знал, так ловко обходил, что на грубой невежественности никогда поймать себе не давал. В России он считался очень учёным, в действительности был необычайно уверенным в себе. Заранее испорченный женскими ласками, прежде чем подрос, заранее разочарованный, холодный, Пузонов, доходя до тридцатого года жизни, имел уже только огромную амбицию, удовольствия в избытке... и иногда фантазии изношенного старика. Немилосердно остроумный, очень храбрый и как солдат не отступающий не перед какой опасностью, мог нравиться, пока его кто-

нибудь не узнавал лучше. Благородными видами рыцарства, охотной щедростью, готовностью к услугам любезную роль цивилизованного играл отлично; дома слуг не было необходимости расспрашивать, потому что не смели бы открыть, как с ними обходился.

Варшава для Пузонова была полем боя, на котором хотел добыть милостей, доверия и аванса от его императорского величества. Как Игельстрем, как Репнин, как почти все даже до Северса российские послы, Пузонов едва показывал необходимые соображения насчёт короля и придворных, презирал оппозицию и народ, против которого золота и угроз считал достаточным и даже имел мало связей с той подлой аристократией, которая в то время унижалась перед всеми послами по очереди, баламутила их женщинами и думала, что опутает лестью.

Для того чтобы быть более свободным, Пузонов ни одной сердечной связи (как иные) не завязал в Польше, хотя его очень манили; он предпочитал себе прибрать дом такой старостины Одригальской за гостиницу, где царствовал абсолютно и который мог без церемонии покинуть, когда ему нравилось. Часто Бетина служила ему, не зная о том, принося вульгарные слухи, которые кружили по городу; иногда она предлагала сама исследовать кого-то и достать информацию, недоступную для других полицейских агентов. Она делала это без наименьших угрызений совести, как вещь очень естественную, часто гордясь, что ей так хорошо удалось.

Пузонов стал бывать у старостины из-за какого-то временного каприза, потом её общество казалось ему полезным и приятным, потому что его вовсе не смущало...

Она также взаимно считала его очень приятным, неслыханно образованным и старалась очень хорошие поддерживать с ним отношения.

Ловкая женщина под его мягкой внешностью вскоре открыла жестокое, дикое это выражение облика, которое выдавало внутреннюю тигриную натуру и – боялась его также очень... Но даже страх иногда рождает в некотором роде привязанность, он есть очарованием, в изношенных людях и женщинах пробуждает давно умершие нервы.

## XXIX

Однажды, когда Дмитрий Васильевич, привыкший входить к старостине, когда хотел, без объявления, вбежал в середине дня, дабы у неё отдохнуть, застал там прибывшую минуту назад Хелу.

Обе женщины были смущены этим внезапным вторжением; Пузонов это заметил, представился церемонно и вежливей, чем обычно... Но Хела, задетая какой-то тревогой, тут же сбежала.

Дмитрий Васильевич, однако, имел достаточно времени, чтобы измерить её любопытным оком, восхититься её красотой и почти перед ней остолбенеть.

Встретив это чудо красоты в обществе старостины, генерал мог сделать различные предположения о ней и догадаться... о вещах, для девушки не слишком лестных – однако же Хела произвела на него такое впечатление, что он не допустил ничего её унижающего... Серьёзность, благородство, невинность этих светлых черт, девичьих, почти суровых... даже испорченному человеку не позволили сравнить её с обычными женщинами, которых он здесь встречал.

Как все изношенные люди, Дмитрий Васильевич легко загорался – и в этот раз тут же воспламенился, но не хотел этого дать знать по себе. Опытное око старостины прочло в нём впечатление, прежде чем он в нём признался.

С великой ловкостью, которая, может, кого другого бы обманула, но не Бетину, якобы равнодушно, не скоро спросил он хозяйку дома, кто бы была та... панинка, которую у неё застал...

Старостина с четверть часа ждала этот вопрос, будучи приготовленной к ответу, промурчала, поэтому неохотно, что это бедная, честная девушка, которой она даёт из милосердия работу.

Генерал, не смея больше настаивать, замолчал... говорили о чём-то другом... По прошествии первого, может, получаса, уже далеко менее ловко и немного нетерпеливо он начал расспрашивать о Хели.

Старостина притворилась разгневанной.

– Я вас умоляю, – воскликнула она.

.....

– На что мне это? Позор только и бремя для меня... досадно...

Старостина остановилась, она заметила, что элементарные правила женского кокетства были чужды невинной ученице.

– О, моя дорогая, – сказала она после раздумья, – я также, благодарение Богу, ещё нестара... но, если бы я имела, скажу откровенно, твоё очарование, твою молодость...

– Чтобы вы сделали? – спросила Хела.

– Что? Что? Трясла бы светом, людьми, имела бы что хотела, а не работала бы по ночам, портя глаза из-за нескольких злотых. О! Ты не знаешь, – добавила она, – какую власть имеет красивая, молодая женщина над теми мужчинами и что ей доказать можно... Но нужно уметь.

– Этому я, наверное, никогда не научусь, – отозвалась Хела в душевной простоте, – не понимаю... не сумела бы... Что же бы мне, впрочем, дали маленькие удовлетворения собственных милостей... и судьбу – мою судьбу это изменить бы не могло.

– Как это? Напротив, дало бы тебе более прекрасную судьбу, сделало бы тебя богатой, счастливой, любимой... бросало бы тебе под ноги...

Хела слушала и так как-то не понимала старостины, которая чересчур возбуждалась, что ей попросту отвечала:

– Но я... я не пошла бы замуж, не любя... а...

Это мнение о супружестве так не вовремя удивило и смешало Бетину, что она вдруг замолчала. Она заметила, что ученица требовала пошагового и медленного приготовления... должна была разложить лекции на несколько дней. Иначе понять было трудно... Хела совершенно не знала того света, который был единственным для старостины; старостина едва догадывалась о такой простодушной невинности.

### XXX

Назавтра и последующие дни Пузонов, воображение которого сильно было занято чрезвычайной красотой Хели, не в состоянии допустить, чтобы действительно была так недоступна и дика, как ему её рисовала старостина, выслал тайно на разведку свою секретную полицию для подробного выяснения состояния и положения Хелены. Люди, что привыкли ходить около подобных дел, изучили всё; донесли ему очень детально, кто была, где и с кем жила. Он узнал даже больше, нежели старостина, которая считала её за племянницу, узнал о таинственном происхождении, о полном сиротстве, но вместе о безукоризненной славе, работающей жизни и чрезмерной бедности.

Он сперва остерегался раскрыть Бетине то, что проведал, чтобы не показать перед ней, что ей не доверяет; но он убедился, что иначе, как через посредничество Бетины, трудно ему будет завязать более близкие отношения.

Его голова горела, он терял терпение, бегал, наконец добился от Бетины то, что та ему сообщит, когда Хела будет у неё, чтобы её всё-таки мог узнать ближе...



С великим трудом удалось старостине склонить девушку, чтобы пришла к ней на более долгое время... но Бетина имела на это способы: только под этим условием обещала работу, пригрозила, что откажет во всякой помощи, притворялась возмущённой и разгневанной...

А маленькая Юлка лежала больная, мать плакала дни и ночи, а бедная Хела любила их обоих и сердце её стучало, когда им помочь не могла! Работы и денег старостины должно было хватить на всё, ибо иных средств не было.

– Моя Хелуся, – шептал ей больной ребёнок, накидывая похудевшие ручки на шею, – моя ты дорогая сестричка... ты так теперь редко сидишь при мне, а я так тебя люблю... мне так с тобой хорошо... Когда возьму твою руку и положу себе под голову... то засыпаю так сладко... и мне кажется, что я самая здоровая, что нет опасности, когда тебя чувствую рядом...

– О! Ты моя ласковая, – говорила ей Хела, – подумай... я всё-таки должна работать, чтобы вам не быть в тягость... а иногда облегчить вам немного. Вот и сегодня так сложилось, – прибавила она, – что мне велели обязательно вечером быть там, где мне работу дают и где мне её лучше всего оплачивают... Матушка, что я тут предприму... на завтра нужны лекарства... булки... сок... всё... принесла бы пособие, но я должна, должна идти за ним сегодня вечером, иначе этой пани не застану... Велела! А мы... мы слушать должны.

– Но почему вечером? – спросила Ксаверова. – Могла бы, может, пойти утром. Знаешь, Хела, какое неограниченное я имею к тебе доверие, а с твоей красотой, молодостью, неопытностью, честной доверчивостью... я так за тебя боюсь!

– Чего же, мамочка моя? – веселей подхватила Хелена, целуя её руку. – Чего? Не бойтесь, люди не так злы и Бог присматривает за сиротой. Что же плохого может произойти?

Ксаверова была слишком бедной, слишком любила Хелюню и дрожала за неё, поэтому она замолчала, не настаивая больше, вечерний выход Хели был определён.

Каждая иная нарядилась бы, может быть, немного старательней, она, не думая, чтобы там могла кого встретить, не желая никому понравиться, осталась в своём повседневном платье, причесала волосы... вышла...

Она застала Бетину уже ожидающей, а в покое яркий свет... что-то, как бы приготовление для приёма гостей; она хотела сначала уйти, но старостина схватила её за руку.

– А! Не будьте уже ребёнком, – воскликнула она нетерпеливо. – Никого у меня не будет... мы останемся одни... Я люблю свет... А если бы зашёл случайно тот пан... тот... знаешь, который тебя уже тут раз видел, которому ты так безумно понравилась...

– Тогда бы я немедленно убежала! – крикнула Хелена.

– А я бы смертельно разгневалась... – воскликнула Бетина. – Что это за дикость и страхи какие-то смешные.

Она поглядела на неё и, видя её так просто одетую, только в повседневном платье, пожала плечами. Под разными причинами то холода, то примерки наряда хотела её обязательно немного принарядить, но Хела решительно этому противилась. Поэтому она осталась, как пришла, в своей ежедневной одежде, но этот свет, эти наряды уже её забеспокоили... Воспоминание о незнакомом господине давало почву для размышления... Мрачная, вынужденная ждать зарплату и работу, она села.

Старостина пыталась её развеселить беседой, но и та не шла; испуганная девушка едва отвечала, каждую минуту вставала, задержать её было трудно.

Видя её всё более беспокойной, старостина перешла на искренность.

– Вот прямо предпочитаю тебе поведать, почему задерживаю тебя, – сказала она. – Мой добрый опекун хотел тебя непременно видеть... ведь глазами тебя не съест, что же в этом плохого? Ты ему понравилась... старается приблизиться... это не грех!

– Но я вовсе знакомства не желаю, – воскликнула Хелена. – Не обижайтесь на это, это может быть самый достойный человек, всё-таки на меня с первого взгляда произвёл очень

неприятное впечатление... почувствовала какой-то страх... не знаю, это, очевидно, чудачество... почти отвращение...

– А! А! – ответила, смеясь, старостина. – Знаешь, что это значит? Это всегда есть первым знаком непременно рождающейся любви... это вещь надёжная.

Хела, покрасневшая, практически до слёз смущённая, умоляла и просила, чтобы было разрешено ей уйти... Уже собиралась к побегу.

– Слушайте же, трудная девушка! – прикрикнула старостина. – Клянусь, что если в этот раз уйдёшь от меня, то тебе незачем возвращаться... буду гневаться... а я, когда гневаюсь, то раз... и навсегда. Всё-таки тебе у меня не грозит никакая опасность... Иди, если хочешь... но будь здорова!

Гнев, на этот раз настоящий и вовсе не притворный, встревожил Хелену... она рассчитала его последствия... ей показалось, что слышала плач Юлки... увидела её бледное лицо и слёзы Ксаверовой... и села, вся трепещущая...

### XXXI

В эту минуту наконец пришёл ожидаемый Пузонов, который благодаря той великой лёгкости, с какой русские учатся языкам, а вместе пребыванию в Варшаве и отношениям со старостиной, говорил очень хорошо по-польски. Насмешливо улыбаясь, обычно даже любил с иронией часто повторять: господин благодетель и госпожа благодетельница! Он одет был как обычно, когда пускался на вечерние экспедиции, по-цивильному, с некоторым изяществом, надевая вместе с костюмом сладость и вежливость, которую умел надевать и сбрасывать с той чрезвычайной ловкостью, с какой паяц на верёвке одевается и раздевается, стоя на одной ноге.

Хела стояла рядом со стулом, красная, как вишня, дрожащая, как осенний лист, смущённая.

Старостина, поспешив к порогу, дала знак генералу, чтобы был осторожен и не спугнул встревоженной; но он знал уже сам, как вести себя. Ему заранее объявили, что он должен играть роль друга покойного мужа, опекуна; Бетина на этот вечер облачилась скромностью и серьёзностью.

Дмитрий Васильевич сделался почти несмелым – так был полон почтения...

Бетина промурчала что-то непонятное, представляя его панне Хелене...

Вскоре, однако, испуганная девушка, восстановила всю смелость невинности... и свою смелость немного дикую... Мало живя с людьми, Хелена имела инстинкт, у неё отсутствовал опыт, угадывала формы, которых не знала, а всё-таки была в сравнении со старостиной большой пани. Хотя её лишили храбрости бедность и общественное положение, она особенно чувствовала своё достоинство.

Генерал, чтобы её слишком не тревожить, едва поздоровавшись, начал со свободного и весёлого разговора с Бетиной, с общего. Подали кофе и фрукты, придвинулись к столу... Хела, краснея, села вдалеке... молчащая... Хозяйка нелегко смогла не спеша втянуть её в беседу. Говорили о Варшаве, о погоде, о городских слухах, обо всём и ни о чём... лишь бы что-то говорить; взор генерала гонялся за красивым, румянящимся личиком девушки... Старостина, которая умела вести такой отличный разговор, умышленно его удлиняла, чтобы дать Хели время остыть...

Видя её более спокойной, генерал с самыми сладкими и красивыми формами уважения приблизился к ней и будто бы открыто, без претензии, сразу признался, что чрезвычайная её красота произвела на него впечатление, которому он не мог сопротивляться.

На любезности, которыми он её осыпал, грустная Хелена чуть что-то непонятное могла ему ответить, но из нескольких этих слов, а скорее, из её спокойного, холодного взгляда генерал убедился, что находился перед существом, совсем непохожим на хозяйку, что это была натура

девственная, чистая, благородная даже до экзальтации, полная простоты и энергии вместе, которая этой лжи, называемой любезностью на свете, понять даже не могла и оценить не умела. Видимая лесть не производила на неё впечатление, язык салонов и света был ей чужд.

Сколько бы раз такой человек, привыкший к жизни среди существ искусственных и испорченных, не сталкивался со свежим, благовонным, полным естественности явлением, пробуждается в нём сначала какое-то неверие, удивление, потом чувство собственного бессилия. Эти обычные приёмы, которыми так отлично владел добытчик сердец большого света, тут ни на что негодились... эта монета, которая не имеет курса... нужно было сменить тактику и, не имея сердца, спрятать хоть видимость чувства.

Генерал заметил это быстро, плутал и ошибался, потому что не мог попасть на соответствующий тон... Хела, осмелевшая, более холодная, уверенная в себе, убила его величественным равнодушием и поглядывала на него сверху.

Но Пузонова это возбудило ещё больше, он воспламенился, безумно влюбился, если это годится назвать влюблённостью, что было самой обычной страстью. Он это так называл, по той причине, что иной любви знать не мог, а эту практиковал с четырнадцати лет жизни.

Час пребывания Хели прошёл для него бесполезно.

.....

Почти без вступления начала она сразу о своём друге, впечатлении, какое произвела на него Хелена... чтобы её этим не испугать, обрисовала рождающуюся любовь, как полную уважения.

– Всё это, дорогая пани, – отвечала ей Хелена, терпеливо выслушав, – ни к чему не приводит и неприятность мне только делает... Признаюсь вам откровенно, если бы этот человек, которого знаю так мало, имел даже намерения... какие... когда хотел жениться на мне, я пойти бы за него не могла... Мы очень бедные, я сделала бы эту жертву ради матери и моей больной Юлки... чтобы судьбу их улучшить... если бы я была вполне свободной... но...

– Как это? А что тебя связывает?

– Послушайте меня, – сказала Хела спокойно, – я расскажу всё...

И начала с мягким чувством, с воодушевлением рассказывать всю историю знакомства с паном Тадеушем в Доброхове, скрывая только его имя и фамилию, потому что чувствовала, что могла человека, вынужденного скрываться, предать. Имя это, впрочем, ничего бы не дало.

Старостина слушала с живым интересом, расспрашивала, догадалась даже, может, больше, чем было, и – дивная вещь – то, что её должно было отговорить и запугать, только придало смелости... Сердце девушки было открыто, гостило в нём чувство, получение казалось более лёгким... она знала людей по-своему.

Якобы с сожалением покачивая головой, она начала говорить Хелене:

– Боже мой! Какие вы все, молодые, легковёрные и добродушные... сколько нужно опыта, чтобы получить разум! Этот твой незнакомец, как я слышала, не объявился тебе, не обещал ничего, даже отчётливо не говорил, что любит тебя... Ты сама это признаёшь! Старый какой-то баламут! Хотел провести с вами приятную минутку, а ты себе этим будешь жизнь связывать! Он, конечно, не придёт, а тут потеряешь господина, что не легко другой раз представиться может... Мать в бедном состоянии, сестра больная, обеим нужны удобства, тебе – отдых... и всем этим ты жертвуешь из-за мечтаний, из-за каких-то там напрасных надежд, которые должны обмануть.

– Ничего не жертвую... потому что вы, пани, дали мне понять, что и тот бы жениться на мне не мог.

Старостина на такое выразительное заверение заколебалась, предпочитала сразу сделать эту наибольшую трудность, чтобы позже с ней не встречаться.

– Сейчас, конечно... нет, – сказала она, – но когда его интересы, когда семья... позже... о! ты бы сделала с ним, что хотела! Ты бы его завоевала, привязался бы, должен бы... Уже и так безумно влюблённый... а что было бы, если бы ты с ним была более ласковой?

В положении бедной Хели это было ужасное искушение... Дьявол бы, наверное, не выдумал более угрожающего. Мать и сестра! Два существа, которых она так любила. Если бы дело шло только о ней одной, если бы нужно было ей одной мучиться и работать – ждать и терпеть – снесла бы всё... но мать и больной ребёнок!

Личная бедность в благородном сердце – это новый рычаг для подъёма, но когда смотрит на чужие страдания и не может помочь... только самоотверженностью – как же трудно противостоять! Весь мир сироты замыкался в том маленьком дорогом ей кружке, в той, что для неё была матерью и той, что её больше любила, нежели сестру... К обоим она была страстно привязана... и чего бы не сделала для них! Старостина бросала в её сердце болезненную пулю, как бы упрёк в эгоизме... Должна ли она была пожертвовать ими для себя, или свято, тихо сделать им из себя жертву?

Из этого разговора вышла Хела разморённая, неуверенная, побежала в свой покоик и, ходя по нему, плакала...

Странные мысли пробегали в измученной голове... из волнующейся груди вырывался неизбежный вопрос:

– Имею ли я право пожертвовать ими ради себя?

Старостина ослабила её веру в пана Тадеуша, сама она теперь припоминая последние с ним разговоры, найти в них не могла ничего, что бы связывало её будущее... Была свободной... а долг благодарности вынуждал её к самопожертвованию... Слёзы лились... по человеку, к которому чувствовала больше, чем приязнь и уважение... а эти слёзы казались преступным эгоизмом...

Сердце сопротивлялось жертве, она вспоминала эти тихие вечера, единственные в своей жизни, первые, в которых в ней заговорило чувство... эти блаженные часы беседы, эти рассказы, которые они безмолвно слушали. Каждая особенность этих минут живо возвращалась в памяти, а разорванные навеки отношения... объявляли вечную тоску и сожаление по человеку... которого теперь только... любила... Любовь её была спокойная, но несломленная; жить без него – это умереть.

Но разве она не сможет для этих дорогих существ отдать хотя бы – жизнь?

– Вернётся, – говорило её сердце.

– Кто же знает! – противостоял насмешливый голос Бетины.

После целой ночи раздумий и борьбы на следующий день Хела встала с сильным решением искать банкира Капостаса. Приближалась весна... Кто же знает, он мог прибыть и напрасно искать её!

Пани Ксаверова предоставила ей полную свободу; поэтому с утра она могла выйти в город, и выбежала, не зная ещё, каким образом будет его искать. Рассчитывала на инстинкт, на своё счастье... на Провидение.

Она не ведала ещё, что за каждым её шагом с одной стороны беспокойная старостина, с другой ревнивый генерал приказали следить... следом за ней нищий и старая женщина из-под ворот потащились якобы за милостыней... не спуская с неё глаз...

### XXXIII

Только очутившись на улице, Хела начала размышлять, каким способом, не обращая ничего внимания, можно разузнать о Капостасе.

Эти российские розыски в Доброхове в минуты, когда Сехновицкий должен был оттуда бежать, позволяли легко догадаться, что наименьшей неосторожностью может предать того,

которого всем сердцем любила. Не имела никого знакомого, кому могла бы довериться... Инстинкт женщины вёл её в костёл, она верила в капеллана, ожидала от него понимания и снисходительности... наконец, сохранения тайны... Предчувствие предостерегало её о необходимости осторожности. С Белянской улицы машинально побежала на Медовую к Капуцинам, опустилась на колени молиться, а, увидев в конфессионале сидящего старичка с седой бородой, который никого не исповедовал, подошла к нему, целуя ему руку. Монах подумал, что она хотела встать на колени для исповеди, и указал ей место.

– Отец мой, – сказала она потихоньку, – я не готова к исповеди, но пришла как к духовнику за советом... Я очень бедная... людей боюсь... не откажите мне в отцовском слове.

Старичок мягко наклонился.

– Чего ты хочешь, дитя моё?

– О! Я очень бедная, – повторила она, – у меня бедная мать, маленькая больная сестра... Ожидаю помощи от опекуна, от человека, который должен прибыть в Варшаву... Не знаю, где его искать, как о нём спросить, хотя...

– Он дал тебе какое-нибудь указание? – спросил ксендз.

– Да, отец мой, но, зная, что человек этот был преследуем, не смею использовать указание, чтобы... чтобы не предать его.

– Очень хорошо делаешь, будь осторожной.

– Но перед тобой, отец, как на исповеди...

И Хела поведала фамилию опекуна и вместе банкира, у которого могла о нём узнать.

– Старец положил на уста палец.

– Тихо, – сказал он, тихо... достаточно! Понимаю... У Капостаса велел узнать о себе...

– Так точно, отец...

Старичок наклонился к её уху.

– Не самую лучшую тебе скажу новость... Капостаса кто-то предал... его искали в Варшаве, арестовать хотели, вынужден был бедный бежать либо сидит где-то в укрытии.

– А! Несчастная, что же я предприму! – ломая руки, воскликнула Хелена.

– Это не затянется, – прибавил капуцин, – будь спо-кой-на, вернётся он, вернётся... выплывет наверх, когда придёт пора... Но вы должны ждать до Великой Седмицы, как вам указано... И будьте в хорошем расположении духа – Бог велик!

В эти минуты с другой стороны конфессионала застучал опускающийся на колени для исповеди какой-то мужчина, Хела поцеловала руку старичка и ушла.

Несмотря на утешения монаха... её сердце обливалось кровью – она чувствовала последнюю потерянную надежду. Время шло так медленно, а бедность была такой страшной для больного ребёнка!

## XXXIV

Шла она улицей задумчивая, погруженная в себя, прибитая, не обращая внимания на толпы, которые проплывали мимо. Яростная боль, какую она узнала, сделала её почти бессознательной; не думая, что столько людей обратили на неё взгляды, пройдя несколько шагов, она остановилась, заламывая руки, подняла голову наверх и плакала. Онемелая, прекрасная как статуя, простояла она так какое-то время, не ведая, что делалось вокруг.

Была она в эти минуты такой красивой, такой восхитительной, а её фигура выражала боль такую глубокую, что все проходящие, начиная от нищих, останавливались, смотря на неё... Вокруг, как венком, окружили её любопытные.

– Боже мой, какая она красивая! – восклицали одни.

– Но что же случилось? – говорили другие.

– Чего она так несчастна? Что это? – шептали иные.

Когда Хела, услышав эти выкрики, выходя как бы из сна, обернулась вокруг, она устыдилась, окрасилась румянцем... и спешно хотела бежать.

Какой-то господин, одетый по-французски, стоял прямо перед ней, смотрел на неё удивлённый, восхищённый, почти ошеломлённый...

Костюм и даже черты лица выдавали в нём иностранца... Он специально вышел, притянутый этим видом, из каретки, которую отправил...

Когда Хела испугалась и, пристыженная ещё больше, избегая очей и домыслов, свернула в боковые переулки, первые, какие встречала, не обращала внимания, что шаг за шагом за ней направлялся тот незнакомец. Иные прохожие погонялись глазами, покачали головами и не спеша расходились.

Незнакомец при шпаге и в парике, хотя немолодой, бежал так, не желая её потерять из глаз, что через минуту за ней, запыхавшийся, вбежал в ворота дома на Белянской улице. Только тут остановившись, он начал вытираться платком, закашлял и должен был мгновение отдохнуть.

Стоя в воротах, он преследовал ещё взором Хелу до глубины двора, следил, куда войдёт... потом поглядел на номер дома, ударил по лбу и, немного отдышавшись, направился прямо к жилищу старостиной.

Бетина, наряженная *en guerre*, ходила с веером по салону, ожидая рапорта служанки, которая ей должна была дать знать об экспедиции Хели, когда на её пороге появилось улыбочливое, сморщенное лицо пана Марчелло Баччиарелли, придворного художника его величество короля.

Они были друг с другом хорошо и давно знакомы. Баччиарелли три раза рисовал портрет старостины, стилизованный под старину: как пастушки, как Дианы, как королевы. Кроме того... кто же не знает, что для тех салонных историй в Лазенках самые прекрасные пани двора не колебались служить моделями... дамы, имена которых до сих пор светятся в одах станиславовских поэтов? Помимо этих желанных моделек, Баччиарелли часто нужны были и менее капризные, менее занятые и менее нетерпеливые модели... более послушные ему и готовые позировать, когда он был готов к рисованию.

Как раз в то время Бетина была во всей расцвётшей красоте (которая, как у всех итальянок, слишком долго цвести не должна была), была свободная, хотела дать узнать себя и охотно служила моделью Баччиарелли... На мгновение это её сделало чрезвычайно популярной... Отсюда завязалась дружба с художником и хорошие отношения...

С этого времени, по правде говоря, много воды утекло и стёрлось изящество, не просили её уже, чтобы позировала в образе нимфы, Дианы и Астреи... она сама не желала служить моделью второстепенной личности... Поэтому она удивилась, заметив на пороге Баччиарелли... потому что боялась, чтобы ей не предложил что-нибудь оскорбляющего воспоминания давней красоты... какого пожилого божества... либо...

– А! Моя богиня! – воскликнул с порога художник по-итальянски, потому что Бетина говорила на этом языке отлично, – я пришёл к тебе случайно... Прости! Скажи, что здесь за необыкновенная, свежая, торжественная красота скрывается в этом доме?

– Красота иная... не моя? – смеясь, спросила Бетина.

– Ты чудесна в своём роде, – вежливо прибавил придворный, – а та, та, не только, что красива как восходящее солнце... но ещё, что вещь особенная, неслыханная... так похожа...

– На кого? – спросила старостина.

– На княгиню воеводину... Когда я рисовал царицу Савскую, мне понадобился тип восточной красоты... Как раз вскоре после своей свадьбы князь воевода прибыл в столицу... было это чудо красоты!

– Другое чудо! – сказала Бетина.

– Нет, то же, послушай только, – продолжал Баччиарелли. – Этим чудом красоты была его жена. Когда я её увидел, её лицо... поклялся, что она посидит у меня хоть полчаса для царицы Савской... Но не знал, что попал на князя воеводу, ревнивого чудака, которого ничем умилостивить было нельзя. Король сам об этом его любезно попросил, а получил совсем не милый ответ.

– Наияснейший пане, – воскликнул воевода, – наши матери и бабки давали родине детей, но не художникам моделей.

Не было, для чего другой раз туда возвращаться... Однако, когда князь воевода был приглашён к королевскому столу вместе с молодой супругой, я так устроился, что, незамеченный, в верхней галерее, в белой зале, набросал это милое личико и дал его моей царице Савской... Была как две капли воды похожа, а что красота воеводины привела всех в бешенство, толпы бегали в мастерскую... Но что же! Короткое утешение... Князь воевода узнал, напал на меня, плотно шпагой выкроил, положил тысячу дукатов на стул и письмо... По письму я мог судить, что другой раз рисовать жену было небезопасно... Sono italiano... а князь также наполовину итальянец... нельзя с ним шутить.

– Но что же ты мне полчаса рассказываешь о какой-то там воеводине? – спросила Бетина.

– Потому что её красота застряла в моей памяти, – добросил художник, – а это есть живой её образ... Если бы я не знал, кто есть княгиня воеводина, особа суровых обычаев, ну... я подумал бы... Сходство есть больше, чем простое сходство, есть идентичность... движение, лицо, выражение, фигура... Словом, это чудо! Чудо тем большее, что это, кажется, простая, бедная девушка.

Бетина прервала.

– Ты не ошибаешься, сударь, я уже знаю, о ком говоришь... Это Хела, это Хелена! Но я говорю тебе вместе с тем, что если ты не мог рисовать ту, с уверенностью и эта тебе моделью не послужит.

– Кто же она? – спросил художник.

– Это действительно бедная девочка, но гордая, боязливая и недоступная.

– Знаешь её?

– Видела несколько раз... напрасно и говорить об этом... Не обманывайся напрасно надеждой.

Старостина говорила так специально, опасаясь, чтобы заработок не вырвал из её рук жертвы; она начала рассказывать небывалые вещи, чтобы его утешить, и убедила его так хорошо, что Баччиарелли после получасового разговора ушёл, наконец, расстроенный... убеждённый, что старался бы о том напрасно...

Он вздыхал как художник над утраченным идеалом, типом, который по памяти воссоздать не надеялся и который под его кистью так бы чудесно засиял.

В этот вечер был ужин у королевской племянницы, пани Мнишковой, небольшая кучка самого избранного общества. Баччиарелли, который как раз закончил портрет короля для хозяйки, приехал вместе с ним. Разговаривали, восхищаясь над выражением грусти и мягкой доброты, которые художник сумел придать лицу Понятовского, когда отвлечённый Баччиарелли, при виде немолодой уже, но красивой пани, великолепной фигуры, встал, как бы тронутый пружиной, и побежал к её стульчику.

Эта особа сидела грустная и задумчивая в тени, немного вмешиваясь в разговор; черты её лица, обычные, благородные, обливала постоянная мраморная бледность, словно из них уже утекла жизнь.

– Ваша светлость, – сказал потихоньку, склоняясь перед ней и целуя её красивую руку, Баччиарелли, – я хотел сегодня отомстить за себя, если не на вашей княжеской светлости, то на князе воеводе... а и то мне не удалось...

– Отомстить? За что? – спросила равнодушно княгиня.

– О! За вырванную у меня царицу Савскую...

– А! Эта старая история... Но какой же должна быть месть!

– Случайностью, чудом... я встретил сегодня на улице... простую девушку... бедную. Она стояла, погружённая в какую-то грусть, с заломанными руками. Я чуть не встал на колени перед ней на улице... Была чудесна, и так, так на вашу княжескую светлость похожа... Может, её красота не имела того блеска, каким вы тогда сияли, но черты!.. Те же самые! Выражение... я остолбенел!

Княгиня с какой-то тревогой живо обернулась к нему, напрасно пытаясь скрыть волнение. Может, она не очень была рада этому сравнению с какой-то уличной красоткой. Лёгкий румянец как облачко проскользнул по её лицу... будто бы луч заходящего солнца на стене.

– Простая девушка? – спросила она. – В каком возрасте?

– Быть может, около двадцати, – сказал Баччиарелли.

– О! И, конечно, вы за ней погнались! – воскликнула воеводина.

– Признаюсь в этой провинности, но, честно говоря, в интересе искусства она захватила меня.

– Ну? И что же оказалось?

– Что она бедная сирота, по-видимому, без отца и матери; несчастная, бедная, честная, но гордая и недоступная... Нет вероятности, чтобы хотела послужить моделью...

– Может, вы были любопытны и узнали имя этой красотки? – спросила княгиня равнодушно.

– А как же! Имя имеет красивое, как личико: Хелена...

Баччиарелли выговорил эти последние слова, опустив голову, пытаясь припомнить себе имя, и не заметил, что княгиня побледнела, закусила губы, схватила флакончик с лавандовой водой и не скоро потом успокоилась и восстановила обычное своё равнодушие.

– А! Как тут жарко! – сказала она.

– В самом деле душно, – отвечал Баччиарелли.

Была снова минутка молчания.

– И где же эта ваша красотка скрывается? – спросила неохотно воеводина.

– В очень бедном углу, на Бемянской улице, в доме Попроньского, на третьем этаже сзади... Говорят, что они в страшной нужде... а что хуже...

– Что хуже? – подхватила с любопытством княгиня.

Баччиарелли нагнулся к уху.

– В этом доме живёт та славная Бетина, которую тогда выкрал племянник князя воеводы... сегодняшний пан подचाщий... это опасное для молодой красотки соседство.

Княгиня ничего не отвечала.

– Она в действительности так красива? – спросила она позже, как бы из вежливости, для поддержания разговора.

– Я вовсе не преувеличиваю, чудесная красота и самое лучшее доказательство, когда с вашей княжеской светлостью я мог и смел её сравнить...

Воеводина ударила его веером по руке.

– Старый льстец, не плети же, прошу...

– Выглядит так гордо, величественно, серьёзно, имеет в себе что-то такое благородное, что само противоречие одежды с физиономией делает её интересной.

Воеводина, казалось, слушает уже менее внимательно, Баччиарелли остановился, поклонился и медленно ушёл; а вскоре потом и княгиня поднялась с канапе и потихоньку выскользнула.



## XXXV

Вечером этого дня одна из старых знакомых пана Папроньского, хозяина дома, в котором жила Ксаверова, пришла к нему с визитом. Было это такое давнее знакомство и так уж как-то прерванное годами, что восстановление его почти удивило пана Папроньского. Но, так как панна Бабская была некогда вместе с его женой у сестёр Визиток, а теперь жила постоянно в богатом доме и имела отношения в свете, Папроньский послал за печеньем и вышел с кофе на саксонском фарфоре. Они говорили о разных вещах, панна Бабская перешла на бедных, на долг помощи ближним и старалась выведать, не было ли в доме Папроньского какой семьи в нужде... и без помощи.

Папроньский, болтун, вспомнил о Ксаверовой. Эта особа странно заинтересовалась ей и её судьбой... и требовала от хозяина, чтобы конкретно расспросил, что там делается, и тайно её о том уведомил.

Ксаверова крайне удивилась, когда вечером того же дня в её убогое схоронение сразу вошёл нетерпеливый Папроньский. Был это приятель её мужа, сегодня её благодетель... но она его чуть ли не испугалась, предвидя, что, может, вспомнил о своей задолженности; а той она не была в состоянии ему заплатить. Заработок Хели едва ли хватал на лекарства и на её удобства; болезнь не отступала, скорее, казалось, ухудшается, а с ней росли убытки. Поэтому она приветствовала его с дрожью, села с мокрыми от слёз глазами напротив него и сначала, прежде чем он завязал разговор, сама начала извиняться за свою нерегулярность.

– Да это пустяки, – сказал Папроньский, – вы себе этим голову не забивайте. Это, конечно, тяжкие времена для реального владельца и это пригодились, бы... но что-то также и для добрых друзей сделать иногда нужно. Я пришёл сюда не для того чтобы, упаси Боже, о чём-то припомнить, но чтобы узнать, что вы думаете? Какие имеете надежды? И всегда ли так тяжело идёт?

Бедная Ксаверова имела слёзы, не надежды, слезами ему также отвечала.

– Надежда моя в Боге и, может, в том достойном человеке, который нам на Пасху велел ждать себя. Весна приближается! Мы терпим и ждём! Кажется, что тот человек, имени которого не имею права вам поведать, думает о Хели... а я... я дрожу от одного допущения, что могу её потерять.

Хозяин расспрашивал дальше. Пани Ксаверова даже заметила, что в этом должна быть какая-то цель, догадаться о которой было трудно. Он знал историю Хели прошлых лет и её сиротства только понаслышке... теперь очень тщательно начал изучать и склонял вдову, чтобы ему её рассказывала. Не была она также тайной. Поражающая красота девушки до некоторой степени это объясняла – она пробудила заинтересованность везде, где только не показывалась.

– Как же, прошу вас, – спросил, любопытствуя, Папроньский, – при ребёнке не было также следа, знака, медальона... так как это всё-таки в обыкновении?

– Никакого, – ответствовала Ксаверова, – за исключением имени Хелены Людвики, которое с собой принесла. Доктор отдал мне метрику, выданную в костёле св. Креста, свидетельствующую, что там был крещён ребёнок неизвестных родителей, которого костельные бабки и деды держали до крещения, и дали ей имя Хелены Людвики... Безымянной.

Со смертью доктора исчез всякий след происхождения ребёнка... тайна сошла с ним в гроб.

Папроньский слушал, расспрашивал, казалось, всё хочет запомнить, и, утешив съёмщицу и сильно вздохнув несколько раз, поклонился и вышел, прося её, чтобы о плате не беспокоилась.

## XXXVI

Пузонов не переставал выслеживать все шаги той, которой выдал приговор, что должна была пасть жертвой. Во время, когда Хелена выходила из дома в костёл ксендзов капуцинов, один из этих сторожей шёл за ней и набожно в дверях при случайной ловкости произнёс несколько раз молитву Богородице, в то время, когда Хела расспрашивала старца. Чистой выгодой для него было, что молитовку толкнул Господу Богу и вместе земное дело от этого не пострадало. Из костёла он пошёл за ней по улице, был свидетелем, как её окружил народ, как изумлялся Баччиарелли, и за художником не спеша вернулся на Белянскую улицу. Итак, он сдал, кому следовало, точный рапорт о всей этой экспедиции и со спокойной совестью пошёл на пиво.

Пузонов, узнав о том, что произошло, был крайне недоволен и неспокоен, в сущности, объявление такой необыкновенной красоты такому человеку, как Баччиарелли, который мог предать её огласке, совсем не было ему на руку.

Придворный художник сам считался великим любителем прекрасного пола, а что хуже... деятельным пособником различных неофициальных панских любовниц. Его вмешательство грозило опасным соперничеством и омрачением мира.

Пузонов не желал себе бороться с соперниками, боялся глаз, с любопытством обращённых на дом и женщину, на его действия, предвидел препятствия, трудности и, по крайней мере, недоразумения. Хотя не очень стыдливый, генерал предпочёл бы, чтобы люди о том не знали. Поэтому в тот же самый вечер он вбежал к старостине, кислый, раздражённый, требуя поспешности и жалуясь на события.

Он вошёл немного раньше обыкновенного. Бетина спала после обеда, он испугал её шумной интрадой... испортил настроение, но так был занят собой и своим делом, что даже не попросил извинения у протекторши и, не дав ей хорошенько проснуться, начал с резких вопросов.

– Что происходит? Почему она выходит? Почему вы не следите за ней и не стараетесь поспешить с развязкой?

– Но это требует времен! Безумный, нетерпеливый человек, – ответила, зевая, Бетина, – вы бы всегда рады как можно скорее схватить, чтобы как можно быстрее бросить. С ней открыто говорить нельзя... нужно её медленно приспособливать... всего боится... и гордая!

– Да! Те временем кто-нибудь иной сумеет и похитит её у меня перед носом. А знаешь, староста, что она уже обратила на себя глаза... что уже Баччиарелли за ней гонялся... что будет слух по всей Варшаве...

– Я знаю и как раз вам о том собиралась говорить, – отозвалась Бетина, – но Баччиарелли был у меня и я такую ему дала отповедь, что больше не воротится...

Генерал ходил, гневаясь, в самом деле больше занятый и заинтересованный, нежели ожидала старостина, советовал выехать из этого дома, хотел иное нанять жилище и использовать посредничество Бетины, а за оправдание – здоровье ребёнка... Действительно, дело шло о том, чтобы обращённое на неё внимание оттянуть. Но старостина, не в состоянии сама выехать, не желала себе транслкации, чтобы всё дело, которое выпускать из рук не думала, его управление, не выскользнуло. Поэтому все планы были уничтожены, а генерал всё хуже порывался.

Совещание, спор, почти ссора продолжались довольно долго. Генерал был настойчивый, приказывающий, готовый на великие жертвы, Бетина, в конце концов смягчившаяся, обещала ему сделать, что только будет можно, чтобы ускорить развязку.

Но в этот день Хела не пришла.

Здоровье Юлки значительно ухудшилось, послали за врачом, а тот, прижатый, открыто заявил, что ребёнок, замкнутый в тесном углу, в гнилом воздухе выздороветь не может, что

самым главным для неё средством было солнце, веселье... свобода... свежий воздух... здоровая еда.

Обе женщины выслушали этот приговор плача, мать почти с отчаянием, а Хела с тревогой, с упреком совести, что она одна, жертвуя собой, могла бы этому помочь. Старостина ежедневно ей это повторяла.

По уходу врача долго господствовала глухая тишина, молчание, прерываемое вздохами, протянулось до ночи... Хела не сомкнула глаза в борьбе сама с собой, с сердцем, мыслями и совестью. Попеременно то привязанность к незнакомому Тадеушу... то долг по отношению к той, что её приютила и воспитала боролись. Она чувствовала себя временами порочной, униженной.

Без имени, без будущего, запертый и брошенный ребёнок, могла ли она иначе отплатить опекунам, матери за её старание и любовь, как отказываясь от счастья ради неё?

Скрытыми слезами оплавав короткую надежду какого-нибудь сна счастья, убеждённая, что этот человек, о котором старостина каждый день ей говорила, сможет на ней жениться, наконец решила... пожертвовать собой ради Юлки, ради матери.

Весь план этой героической жертвы она составила в голове... и не уснув ни на минуту, разгорячённая, ждала только белого дня, чтобы пойти к старостине...

Она постановила не признаваться ей в принятом решении... но, если будет склоняемой, согласиться на всё, обеспечивая Ксаверовой и Юлке независимую судьбу.

Едва пробил час, когда она обычно ходила к старостине, Хела побежала, выкравшись... с глазами ещё покрасневшими от работы и слёз... и с кровоточащим сердцем...

## XXXVII

Старостина была женщиной опытной, не спускала с неё глаз; она заметила набухшие веки... её грустное лицо... боль на лице... почти радовалась, чувствуя, что случай приходит ей на помощь и упорство Хелены сломается быстрее и легче, чем она сама могла бы. Она стала весьма чувствительной.

– Что с тобой, сердце моё? – спросила она с заботливостью подруги.

– А! Не спрашивайте, – отвечала Хелена, – все несчастья против нас сосредоточились... Наша Юлка всё больше слабеет, сохнет, вянет... мать тает в слезах, а тут никакого спасения... До Великой ночи так далеко, дни длинные, кто знает, выдержит ли ребёнок! Врач требует смену жилья, воздух, солнце... а в городе и солнца бесплатно иметь нельзя, и воздух нужно оплачивать! Чем же мы поможем, которым едва хватает, чтобы удовлетворить её первую нужду в голоде и холоде...

Она залилась слезами. Старостина кивала головой, а спустя минуту сказала:

– Почему же не хотите меня слушать! Бог знает, что у вас роится в голове... а этот человек, которому вы так понравились, желает вам добра, он сделал бы для вас всё... почему же вы не более ласковы с ним?

– Дорогая пани, – отвечала грустно Хела, – как же тут себя победить! Не знаю, откуда ко мне это чувство пришло, не понимаю его, но с первого взгляда он пробудил во мне такую неприязнь, такой страх, могу даже сказать, такое отвращение... что его утаить не умею. Я бы лгать не смогла... это сверх силы.

– Что снова за странности! Человек нестарый, достойный... неизмерно богатый... Всё это происходит из тех грёз о том деревенском романе... который уже было время выбить себе из головы... это напрасно, тот не воротится, а этого господина потеряешь...

До сих пор не было как-то речи о происхождении, сиротстве Хелены, Бетина считала её племянницей, слыша, что Ксаверову она называет матерью, она не объясняла своего отношения к ней, любя действительно как родную мать. В эти минуты в первый раз Хела прибавила:

– Я имею больший долг к приёмной матери, чем, может, если бы была её собственным ребёнком.

– Как это! Приёмной? – спросила удивлённая Бетина. – Или же...

– Я сирота... дочь её сердца... ребёнок без имени, без отца и матери...

Изумлённая этим признанием старостина заинтересовалась с живым любопытством, спрашивая Хелу, в надежде, что и это ей на что-нибудь может пригодиться... Допрашивала, поэтому, очень заботливо... Хелена не хотела ничего таить, рассказывала ей о себе почти всё, что знала... что слышала в доме, от матери... Плач прерывал это её повествование...

– Тем более тебе сейчас говорю, – воскликнула старостина, когда та окончила, – не имеешь причин колебаться... Знаешь, как на свете много значит семья, происхождение... ты не имеешь имени, не имеешь семьи... никто тебя не возьмёт, каждый отступит перед тобой, как перед загадкой, которая, может, когда-нибудь... Бог там знает, как развяжется! Нужно пользоваться тем, что этот человек полюбил тебя так безумно.

– Но вы мне говорили, что он не может жениться!

Бетина в душе усмехнулась детской наивности Хелены, незначительно пожала плечами.

– Моя дорогая, – прибавила она, – ты жила замкнуто, не зная ни людей, ни света, не понимаешь даже, как тебе поступить... Что же это значит, что жениться не может? Когда влюбится... будет должен. Я, что прошла через много несчастий, многому также научить тебя могу... Позволь ему приблизиться, не отпихивай... дай ему либо позволь догадываться о надежде... очаруй его до крайности... до безумия... и тогда будь уверена... женится.

Вся эта наука была непонятной для Хелены, для которой на свете одна только простая дорога существовала.

– Моя пани, – сказала она, подумав, – на это нужно бы, пожалуй, иное существо, нежели я, я не сумела бы, имея отвращение к человеку, что-то другое ему, чем это чувство, показать. Лгать, хотя бы мне пришлось умереть, не сумею – а! это... сверх силы... Я совсем не умею притворяться... и простите меня – но нахожу это недостойным себе.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.